



Дмитрий Вересов
Генерал
Серия «Семейный альбом», книга 5

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8329862
Вересов, Дмитрий Александрович Генерал: Роман-хроника: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-082751-0

Аннотация

Переводчица Станислава Новинская и бывший генерал Красной армии Федор Трухин, ставший начальником штаба армии Власова, встречаются в Варшаве 1943 года.

Лагерь для пленных советских офицеров, сложнейшие военно-политические маневры вокруг создания РОА, жизнь русского Берлина военной поры и многие другие обстоятельства, малоизвестные и ранее не затрагивавшиеся в художественной литературе, – все это фон того крестного пути, который проходят герои, чтобы понять, что они единственные друг для друга.

В романе использованы уникальные материалы из архивов, в том числе и личных, неопубликованных писем немецких офицеров и новейших статей по истории власовского движения, к описанию которого автор подходит предельно объективно, избегая сложившихся пропагандистских и контрпропагандистских штампов.

Содержание

Предисловие	5
Книга первая	16
29 июня 1941 года	16
28 июня 1941 года	21
29 июня 1941 года	26
9 июля 1941 года	29
30 июня 1941 года	33
10 июля 1941 года	37
20 июля 1941 года	40
13 июля 1941 года	44
28 сентября 1941 года	52
14 июля 1941 года	55
14 октября 1941 года	57
28 сентября 1941 года	61
7 ноября 1941 года	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Дмитрий Вересов
Генерал
Роман-хроника

© Д. Вересов, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Предисловие

Мое поколение застало советскую власть в обличье Степаниды Власьевны, барыни упрямой, падкой на лесть, слегка маразматической – но в целом незлобной и, как говорится, «жить позволяла», причем во многих отношениях вполне достойно. (А ведь правда, ни до, ни после – ни при царизме, ни, увы, при сегодняшней «банановой» полудиктатуре – не было в нашей большой стране практически поголовно сытого и грамотного населения.) Порой казалось: нашей бы Степаниде еще чуть-чуть мозгов, воли, здравого смысла – и все будет классно.

Классно не стало.

И вот теперь, старея и ностальгируя, наблюдая пустоглазое «кувшинное рыло» нынешнего истеблишмента и чудовищную нравственно-интеллектуальную деградацию общества и власти, мы не только с теплотой вспоминаем бровасто-брыластую матушку Степаниду, но и почти рефлекторно перебрасываем эту теплоту на предшествующие ее воплощения – в особенности на уса́тый облик «эффективного менеджера» и «лучшего друга физкультурников». Те, кто еще позавчера жадно читал Солженицына в «слепых» машинописных копиях и выхватывал друг у друга из рук перестроечные «Огоньки», сегодня витийствуют про гениального вождя и полководца, сурового и справедливого, как Стивен Сигал. Другие же, не сумевшие и не захотевшие «поступиться принципами», талдычат про кровожадное чудовище, похвалившее лучшую половину собственных подданных. И, что характерно, ни те ни другие не хотят разобраться в предмете спора по существу, да и убедить друг друга в своей правоте особо не стремятся – лишь бы перекричать, заклеить, пригвоздить...

И хотя моя книга отнюдь не про товарища Сталина, события, в ней отраженные, не только напрямую связаны с этой нерядовой по всех отношениях личностью, но почти всецело этой личностью обусловлены. Поэтому небольшой экскурс в данном направлении представляется мне важным и необходимым.

Исторически появление фигуры такого типа было фактически неизбежным, причем в контексте как национальном, так и мировом.

Начнем с национального. К 1917 году Российская империя стремительно, хоть и в целом закономерно, пошла в окончательный разнос, и осенью власть в ней даже не захватила, а практически подобрала маргинальная политическая группировка, вполне подпадающая под определение «экстремистской тоталитарной секты». Сочетание утопически-бредовой по существу, но броской, привлекательной и понятной массам идеологии, четкой организации, террористических методов и благоприятных внешних факторов позволило данной секте ценой большой крови эту власть удержать. Однако, будучи «заточенной» на непримиримую борьбу, в организации мирной жизни она, мягко говоря, не преуспела. Ставка на «новую экономическую политику», благами которой сумела воспользоваться лишь ничтожно малая часть населения, не сыграла, как и ставка на «мировую революцию» с последующей всемирной кооперацией пролетариата. Ценой несоразмерно больших усилий удалось осуществить лишь малую часть амбициозных, порой доходящих до откровенной маниловщины, проектов новой власти. Виноватыми, разумеется, были объявлены враги и вредители, в число которых наряду с традиционной уже «недобитой контрой» и «мелкобуржуазными умниками» начали попадать и партийно-хозяйственные «перерожденцы». Репрессивный аппарат, никогда не простаивавший без дела, по мере нарастания кризиса вновь заработал на полную катушку – и это еще до выхода на авансцену товарища Сталина с его «группой поддержки». А потом произошло неизбежное: победившая революция выдвинула из собственных рядов Великого Вождя и, по совместительству, могильщика самой же революции.

Теперь о мировых, точнее, в данном случае, общеевропейских делах. С середины 20-х и на протяжении всех 30-х годов XX века главным, как говорится, трендом оказывается становление, в том или ином виде, фашистских и полуфашистских диктатур, а те континентальные страны, в которых этот сценарий не реализовался, были вскоре, за малым исключением, придавлены немецким кованым сапогом. При этом в каждой стране диктатура имела свой отчетливо национальный характер, и местные «фюреры» (кроме совсем уж марионеточных, вроде норвежского Квислинга или хорватского Павелича) отнюдь не были слепым орудием в руках фюрера германского. Так, лучшего друга Муссолини австрийского диктатора Дольфуса гитлеровцам пришлось ликвидировать, а самого Муссолини, как и венгра Хорти, – приручить путем оккупации их стран в 1943–1944 годах. Франко в Испании и Маннергейм в Финляндии вели и вовсе самостоятельную политику.

Собственно Иосиф Виссарионович идеально вписывается в этот ряд европейских диктаторов – с той, однако, принципиальной разницей, что свой фашизм он строил на большевистской платформе. Отсюда и радикальная разница в риторике и пропаганде («классовое» взамен «национального»), в методах «мобилизационного» экономического регулирования. Отсюда и беспрецедентно жесткая (даже по гитлеровским меркам) внутренняя политика – в этом отношении почва была отменно унавожена предшественниками. Рискну даже высказать мнение, что в наиболее катастрофических с точки зрения человеческих потерь акциях большевистской Системы (варварская коллективизация, голодомор, массовый отстрел специалистов в разнообразных «отраслевых» процессах начала 30-х) лично Сталин виновен не в большей степени, чем запущенный еще в 1917 конвейер классового геноцида. Он еще не мог единолично влиять на ситуацию – хотя открывающиеся в этом направлении возможности, безусловно, оценил. О репрессиях именно сталинских мы, полагаю, вправе говорить, начиная с 1934 года, конкретно – со «съезда победителей».

С этого момента начинаются удивительные параллели СССР и гитлеровской Германии.

Гитлер стал рейхсканцлером и «фюрером» вовсе не по итогам всеобщих выборов. На последних перед «коронацией» выборах его партия потеряла более двух миллионов голосов по сравнению с предыдущими («добрых немцев» оттолкнула его людоедская риторика и устрашающие акции его активистов) и рассчитывать могла разве что на несколько мест в коалиционном правительстве. Но в результате сговора с правыми (с их последующим обманом) и запугивания, а то и физической ликвидации центристов и левых он получил свой «маршалский жезл» из рук Гинденбурга и фон Папена и тут же начал строить свою «вертикаль власти» – отменил выборы, запретил другие партии, «зачистил» конкурентов... Так что Германия отдалась Адольфу не совсем по любви и не совсем добровольно.

Сталин сделался единоличным правителем СССР тоже не без проблем по части легитимности, даже в ее специфическом советском понимании. Доподлинно неизвестно, действительно ли отборные большевики и верные сталинцы, соревновавшиеся с трибуны XVII съезда в славословиях в адрес своего Генсека, в бюллетенях для тайного голосования жестко его прокатили, поставив на пресловутое 14-е место, и была ли действительно произнесена красивая фраза: «Неважно как голосуют, важно как считают». Скорей всего, байка. Но ведь съезд по факту упразднил должность Генерального секретаря ЦК и избрал двух статусно равных «просто» секретарей – Сталина и Кирова. Более того, юридически первым лицом страны был вовсе не Сталин, а председатель ЦИК (позже переименованного в Президиум Верховного Совета) М. И. Калинин. Да и главой правительства Сталин стал только во время Большой войны.

Событием, «зацементировавшим» диктатуру Гитлера, стал пресловутый поджог Рейхстага, давший повод к фактической отмене всех конституционных прав немцев.

Для Иосифа Виссарионовича роль горящего Рейхстага сыграло убийство Кирова. Не доказано, что он приложил руку к этому убийству, но, что извлек из него максимальные поли-

тические дивиденды – сомнению не подлежит. Тут уже полетели первые номенклатурные головы: расстреляно 14 ленинградских комсомольских вожakov, жесткую посадку совершил Гриша Зиновьев, давний недруг Сталина, а с ним еще порядка 800 человек. И это было только начало...

Не имею ни малейшего желания ввязываться в нынешнюю стычку двух мифологий по поводу количества жертв сталинского террора. «Сталинисты» (они же «совки», «красно-коричневые» и т. д.) отрицают сам факт массового террора, охотно признавая, что их герой «очистил страну от всякой сволочи». «Антисталинисты» же (т. е. «либерасты», «дерьмократы» и «пятая колонна») на полном серьезе говорят о 20, а то и 50 миллионах безвинных жертв. Примем за основу цифры, на которых более или менее сходятся серьезные источники: порядка 1,5 миллиона репрессированных по политическим мотивам в период с 1935 по 1941 год, из которых расстреляно чуть меньше половины. Много это? Чудовищно много. Однако, думается, сильно ниже общего числа жертв советской власти за период до окончательного воцарения Сталина или жертв Великой войны, ответственность за разжигание которой он несет почти наравне с Гитлером.

Тут важен вопрос не только количества, но и, так сказать, качества «жертв сталинских репрессий». Когда читаешь, что кровавый Сталин чуть не под корень истребил ленинскую гвардию, доблестных латышских стрелков, героев Гражданской войны, видных теоретиков марксизма-ленинизма, славных деятелей Коминтерна и аж три «смены» руководящих кадров ЧК-ГПУ-НКВД, – трудно подавить в себе ощущение, что восторжествовала историческая справедливость. (Хотя среди этой публики было некоторое количество людей вполне симпатичных, как, к примеру, Виталий Примаков, или несимпатичных, но интересных и нетривиальных, как Бокий или Агранов.) Но когда речь заходит про сотни тысяч граждан, попавших в ежовскую мясорубку в силу «неправильного» происхождения, вероисповедания, национальности, профессии, места работы, начальника, знакомства, родства, стихов, романов, спектаклей, а то и просто по разнарядке или лживому доносу, о торжестве справедливости говорить уже не приходится.

Характерной особенностью этой волны репрессий (в отличие от репрессий того же Гитлера в отношении реальных политических противников или «расово неполноценных» евреев и цыган) была их полная непредсказуемость. Шанс, пусть и небольшой, получить пулю или «десятку» лагерей за троцкизм или шпионаж имел любой рядовой гражданин, будь он даже чукча-китобой, а для гражданина нерядового этот шанс возрастал многократно. Приходя на любую сколько-нибудь ответственную должность – в наркомат, на производство, в Красную армию, в райком, в институт, в НКВД, да хоть в балет, – человек как бы заранее подписывал себе приговор, который мог быть приведен в исполнение завтра, или через полгода, или через десять лет, или никогда. В каком-то смысле под Сталиным ходили как под Богом. Не трепетать перед таким владыкой было невозможно, а вот верить и, тем более, любить... В голове не укладывается. Ладно бы легко внушаемый молодежь, а то взрослые, вменяемые люди. «Стокгольмский синдром», когда заложники, чтобы не сойти с ума, испытывают чувство эмоциональной причастности к террористам, пытаются их оправдать, понять, действовать с ними «в унисон»? Усердная имитация безграничной веры и любви, продиктованная безысходностью или инстинктом самосохранения, вошедшая в привычку и ставшая «второй натурой»?

Словом, вполне себе фашизм – со своим фюрером, своим гестапо, своей единственной и неповторимой Партией, своим гитлерюгендом и Трудовым фронтом, своими геббельсами, гимmlерами и розенбергами, своими митингами железного единства и «пятиминутками ненависти». Со своей «ночью длинных ножей», растянувшейся на годы.

Главная разница между фашизмом сталинским и фашизмом гитлеровским заключалась, на мой взгляд, не в цвете знамен (кстати, одинаково красном), не в формах соб-

ственности, не в «пролетарском интернационализме» в противовес «национальной исключительности», а в том, что Сталин, в отличие от Гитлера, ничего принципиально нового в существующую на тот момент систему управления страной не внес, а лишь оптимизировал ее, приспособив под реальную обстановку.

А обстановка была такова, что без этого «сталинского фашизма» наша страна не выстояла бы в Великую войну, предчувствие которой буквально витало в воздухе по всей Европе. И дело тут не в том, что Вождь был каким-то особо выдающимся военным стратегом или организатором Вооруженных сил. Отнюдь. Как показала жизнь, с точки зрения сугубо военной, Главнокомандующим он был, мягко говоря, посредственным. Зато он сделал то, без чего был бы бесполезен любой стратегический и организационный талант, – предельно от мобилизовал экономику и в короткие сроки наладил массовое производство современного, лучшего по тем временам комплекса средств ведения войны. И второе – он открыл беспрецедентный «социальный лифт» головастой и рукастой молодежи, рожденной до или сразу после революции, быстро эту технику освоившей, встретившей войну в младших и средних офицерских чинах и составившей костяк новой, рожденной в боях, победоносной Красной армии. Из этих ребят с той войны вернулся едва ли каждый десятый...

Излишне говорить, что ни СССР Троцкого, ни СССР Бухарина – Рыкова испытания Большой войной не выдержал бы. Иное дело, что при таком раскладе могло бы не быть и самой войны, – но это материи совсем уж гадательные...

Одновременно ровно тем же, хоть и по несколько иной методе, занимался германский фюрер – мобилизовывал нацию, вооружался, воспитывал отважное, беззаветно преданное идеалам рейха поколение «молодых волков». И хотя всестороннее, в том числе и военное, сотрудничество с Германией, начавшееся еще при Ленине, официально не прекращалось, Сталин, несомненной читавший «Майн кампф» (он вообще был читатель квалифицированный и очень вдумчивый), прекрасно понимал, за счет какой именно страны Гитлер собирается завоевывать «жизненное пространство для немцев». И начал это сотрудничество сворачивать, а немецких национал-социалистов не вполне корректно именовать «фашистами» – на тот момент это был ходовой ругательный термин для любого «буржуазного» правительства. Со скрежетом зубным он наблюдал, как его зеркальный близнец поглощает Австрию, Судеты. На подобные резвости Сталин решился только после провала переговоров с Англией и Францией и резкого дипломатического прорыва в отношениях с Германией. Гитлеру срочно понадобились гарантии невмешательства СССР в полностью подготовленную военную операцию против Польши, Сталину – время для завершения подготовки к неизбежной войне (тогда еще не вполне понятно, с кем именно). В результате чуть ли не на коленке был составлен и 23 августа 1939 года подписан знаменитый договор о ненападении.

Наступил решающий раунд военно-политического покера. Сталин поставил на того, кого посчитал слабейшим. Отношения со вчерашними «фашистами», а ныне уважаемым «германским правительством» мгновенно наладились, пошла торговля, активизировались контакты по всевозможным линиям, включая военно-техническую. Советские специалисты облазали все военные заводы Германии, буквально обнюхав и обшупав все образцы, кое-что прикупили, кое-что обменяли. Немцы поступали так же, выражая неподдельное восхищение достижениями СССР в этой области. На немецкую агрессию против Польши Сталин ответил симметричной акцией с противоположного фланга, отхватив от польской территории изрядный кусочек. Попутно шло двухфазное «освобождение» Прибалтики от слабых полуфашистских режимов Пятса, Ульманиса, Сметоны... Немцы без единого выстрела схарчили Чехословакию, а СССР попытался то же самое проделать с Финляндией, но получил неожиданно жесткий отпор. И хотя в итоге эта позорная во всех отношениях кампания была выиграна, и финны подписали навязанный им мирный договор, Иосиф Виссарионович получил наглядное представление об истинных возможностях своей армии, на тот

момент умевшей побеждать лишь при многократном превосходстве в живой силе и технике, ценой неоправданно высоких потерь. Что он при этом думал, трудно сказать, но, вероятнее всего, имея достаточно полное представление о военно-промышленном потенциале Европы, в первую очередь Германии, решил, что пора утроить усилия в этом направлении...

Адольф же тем временем вовсю развернулся на западном и южном направлениях, молниеносно и малой кровью завоевав все страны Европейского континента, не имевшие нейтрального статуса или союзнических отношений с Германией, бомбил Англию, вторгся в Северную Африку. В своем противостоянии с Англией он уже не был слабейшим, а потому Сталин решил исподволь помочь англичанам против немцев. «Освободил» Бессарабию, Буковину, подползал к нефтяным запасам Румынии, нависал над северными конвоями, выдвигал заведомо невыполнимые условия, когда Гитлер страшно зависел от сталинских поставок.

Немецкий фюрер страдал нарциссизмом и паранойей, но отнюдь не слабоумием. Он прекрасно понимал, что над ним висит топор, что Сталин обязательно ударит в спину. Отсюда и возник печально известный план «Барбаросса» – феноменально наглый, безумный и самоубийственный для Третьего рейха даже в случае точного выполнения всех его пунктов: у Германии со всеми ее союзниками элементарно не хватило бы сил и ресурсов для захвата и удержания столь огромной территории на востоке при одновременном продолжении войны на западе. И нельзя сказать, чтобы у фюрера не хватило здравого смысла хотя бы приблизительно оценить колоссальные мобилизационные ресурсы Сталина и практически неисчерпаемые ресурсы материальные и природные – даже в случае потери донбасского угля, бакинской нефти и промышленных мощностей на оккупированных территориях. То ли расчет строился на «принуждении к миру» на максимально выгодных для Германии условиях, то ли беспрецедентные военные успехи в Европе действительно вскружили голову... Так или иначе, но уже 22 июля 1940 года, выступая перед генералами, Гитлер заявил: «Сталин заигрывает с Англией с целью заставить ее продолжать войну и тем самым сковать нас, чтобы иметь время захватить то, что он хочет захватить, но не сможет, если наступит мир. Он стремится к тому, чтобы Германия не стала слишком сильной. Русская проблема будет разрешена наступлением... Разбить русскую армию или, по крайней мере, занять такую территорию, чтобы можно было защитить Берлин и Силезский промышленный район от налетов русской авиации. Желательно такое продвижение вглубь России, чтобы наша авиация могла разгромить ее важнейшие центры».

Можно лишь с грустью посмеяться над дежурным утверждением советской историографии, будто Сталин ничего не знал о военных приготовлениях нацистов, слепо верил «другу Адольфу» и сосредоточивал усилия на мирном созидательном труде советских граждан и росте их благосостояния. Ограничимся лишь самыми общими цифрами официальной статистики: «В 1939 г. выпуск продукции всей промышленности увеличился на 16 процентов, а предприятий наркоматов оборонной промышленности – на 46,5 процента. В 1940 г. объем военной продукции возрос более чем на треть. Таким образом, военная промышленность развивалась примерно в три раза быстрее, чем вся остальная» (отметим, что «вся остальная промышленность» тоже прямо или косвенно работала на оборону). Еще более стремительно нарастала подготовка кадров для войны, проводились беспрецедентные по своему размаху «военные игры».

И так длилось до захвата Гитлером Югославии в апреле 1941 года. Потом вдруг опять начались «дружеские объятия», хотя, конечно, в Кремле знали: Гитлер не верит, Гитлер – ползет. Он думает, что мы слабые, потому и заигрываем. И пусть думает...

24 мая Сталин устроил секретнейшее совещание с командующими западными округами и с их аппаратом, смысл которого сводился к тому, что нужно упредить врага в развертывании, ударить первыми, вот-вот, в ближайшее время. А потом началось немыслимое по

масштабам сосредоточение советских войск у границы – тайное... страшно тайное. Ночами, в эшелонах без окон. Предполагалось, что германская армия, изготовленная к броску, окажется беспомощна против внезапного удара. Потому и предписывалось «не поддаваться на провокации», не спугнуть развертывание немцев, чтобы они, не дай бог, к обороне не перешли.

Что, собственно, и произошло. Только ровно наоборот.

При этом нужно учитывать, что к 22 июня 1941 года Красная армия была крупнейшей армией мира, по количеству танков, самолетов и всего прочего (а в большинстве случаев – и по качеству) она значительно превосходила немцев. Нашими военными это именно так и осознавалось. Никто в Красной армии немцев всерьез не боялся. Поэтому разгром лета – осени 1941 года был полным мировоззренческим шоком.

О причинах этой катастрофы написано очень много. Не считаю нужным останавливаться на полемике с устойчивыми мифологемами о внезапном и вероломном нападении на мирно спящую страну, о подавляющем превосходстве гитлеровских танков и авиации, о нехватке снарядов и топлива, о непроходимых болотах, о десантах и диверсантах и т. д. Сил и средств у Красной армии было предостаточно и на отражение агрессии, и на мощный контрудар, способный отбросить врага по всей линии фронта. Подвела организация, подвело планирование, подвели кадры.

И вот об этом придется чуть подробнее.

После окончания Гражданской войны главным, а подчас и единственным источником кадровых потерь в РККА была ленинско-сталинская партия большевиков и ее верные стражи из ВЧК-ОГПУ-НКВД.

Массовые репрессии против кадровых русских офицеров и их полное изгнание из армии начались с 1925 года – момента смещения Троцкого с поста главы военного ведомства. Троцкий не предполагал использовать Красную армию для операций в Европе: там, по его мнению, и так вскоре начнется революция. А вот при нападении на СССР внешнего врага на патриотизм и профессионализм офицеров можно было бы положиться.

Наиболее значимое для судьбы Красной армии, самое масштабное истребление кадрового русского офицерства, оставшегося или вернувшегося в СССР, прошло в 1930–1931 годах, в ходе операции «Весна». В этой операции НКВД «чистило» Красную армию от бывших «военспецов», то есть генералов и офицеров, служивших ранее в армии Российской империи. Всего было арестовано более 3 тысяч человек.

Вследствие этого изгнания и уничтожения «классово неполноценных» в советской дивизии насчитывалось к 1941 году лишь четыре-пять офицеров, имевших опыт Первой мировой войны, – меньше, чем их было тогда в батальоне вермахта.

Вторым, куда более резонансным актом этого разгрома стало известное дело о «военно-фашистском заговоре» 1937–1938 годов. И хотя есть большие сомнения в том, что от расстрелянных «красных маршалов» могла бы быть хоть какая-то польза в Большой войне, то тысячи вполне профессиональных военных, «прицепом» отправленные вслед за маршалами, Красной армии несомненно пригодились бы. Более того, уже на второй день войны было арестовано порядка двадцати крупных военных деятелей. Большинство, сначала подвергнув пыткам и издевательствам, расстреляли, некоторых (включая будущего маршала Мерецкова и будущего наркома Ванникова) вернули на прежние должности без какого-либо объяснения причин.

И в итоге на высших командных должностях остались персоны этим должностям, мягко говоря, не соответствующие. Известно, что в июле 1941 года было расстреляно все командование Западного фронта во главе с генералом Павловым – собственно, с теми же основаниями можно было бы расстрелять и командующих всех прочих фронтов (за исключением разве что Северного флота с его славным адмиралом Головкиным), а заодно и всю Ставку

во главе с Верховным главнокомандующим. То, что творилось на фронтах, словами описать невозможно: мощные механизированные корпуса без толку мотались по лесам и болотам, чуть ли не одновременно получая приказы наступать, отступать, обороняться и при этом ликвидировать несуществующие десанты и диверсантов. Наступающие части вязли в толпах беспорядочно отступающих, выдвигались навстречу противнику там, где его не было, попусту теряли технику, боеприпасы, горючее. Механизированные полки бежали от пехотных батальонов вермахта. Отцы-командиры нередко оказывались за сотни километров от линии фронта и самолетами слали письма в Москву с просьбой прислать подкрепление... Отдельные толковые действия отдельных толковых командиров армейско-корпусного уровня (Рокоссовский, Фекленко, Москаленко) становились возможными тогда, и только тогда, когда высшее начальство про них временно забывало, и они действовали по собственной инициативе...

В довершение всего этого практически во всех недавно «освобожденных» национальных окраинах вспыхивали восстания, часто бойцы убивали командиров и комиссаров и в полном составе сдавались немцам или разбегались. За первые месяцы войны число пленных превысило три миллиона, а дезертиров и вовсе никто не считал.

Вождю было отчего впасть в ступор, о чем впоследствии не писал только ленивый. Правда, в сталинский ступор верится с трудом – скорее, имели место лихорадочные попытки анализа ситуации и перебор вариантов. Судя по речи от 3 июля (той самой, где «братья и сестры»), политическая линия была продумана еще не вполне четко. «Враг... ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма...» И что по этому поводу должен был думать советский народ, досыта нахлебавшийся счастливой жизни без помещиков и царя?

Впрочем, с политической составляющей у Гитлера было не лучше. И даже хуже. Свою восточную политику «лучшие умы рейха» строили на бредовых директивах фюрера о «стаде русско-татарских унтерменшей под водительством жидовских комиссаров», которое предписывалось, вполне по-пушкински, «резать или стричь». Конкретное политическое «сопровождение» своей военной акции он доверил наименее адекватному из своего окружения персонажу, главному «идеологу рейха» и главному «специалисту по Востоку» Альфреду Розенбергу. Этот кабинетный маньяк, чьи многословные опусы сам фюрер считал бредом сумасшедшего, даром что бывший ополченец-дезертир Российской армии и несостоявшийся ивановский большевик, имел о России самые извращенные представления, полагая, что смысл жизни для «русского мужика» сводится к страданию, непосильному труду, нищете, рабству и истовому расшибанию лба в ближайшей церкви. Все это он и брался обеспечить на новых восточных землях Третьего рейха. И обеспечил, дополнив вышеозначенные мероприятия педантичным грабежом всех материальных и культурных ценностей, вплоть до гатчинского паркета и дворцово-усадебных изразцов.

Вообще по части идеологии у нацистов было слабовато. Она была безнадежно провинциальной и интеллектуально третьесортной, можно сказать быдлацкой. Их бредовая теория об арийской расе господ и недочеловеческих расах рабов, хоть и претендовала на происхождение от древнегерманских сакральных мифов, мистических откровений гениального безумца Ницше и эзотерических изысканиях профессора Хаусхоффера сотоварищи, по сути ничем не отличалась от пещерного клича гопников всех времен и народов: «Да мы, ореховские, завсегда круче зуевских были!» (Отмечу, что на практике вопрос, кто тут ореховский, а кто зуевский, оба вождя решали примерно одинаково – по своему усмотрению и исходя из политической целесообразности).

Что же касается знаменитого доктора Геббельса, то его «министерство правды» и вовсе сработало так, будто находилось у Кремля на окладе. За редчайшим исключением, его пропагандистские материалы, адресованные войскам и населению противника, служили отлич-

ным наглядным пособием для политзанятий на тему: «Фриц не только сволочь, он еще и идиот». В плен заманивали пивком и сигареткой (это притом, что из миллионов, оказавшихся в плену за первые месяцы войны, десятки тысяч бежали – и рассказывали правду о нацистском «пивке!»), вещали, что «наш гениальный фюрер научит вас, как надо жить» (и это народу, которому другой «гениальный фюрер» давно уже внушил все, что надо!), потешали стишками типа «Пляши, русский мужичок, от Москва до Таганрог».

В конечном итоге сделанная Гитлером ставка на террор и насилие сыграла против него и дала Сталину уникальный шанс превратить драку двух диктаторов за разбойничьи трофеи в Великую Отечественную войну. В лице Адольфа он обрел идеального врага, то самое абсолютное Зло, борьба с которым могла служить моральным оправданием любых действий – по меньшей мере, в собственных глазах.

Но это осознание произошло уже потом, а в 41-м...

Миллионы пленных и еще миллионы советских людей, в одночасье оказавшиеся «бывшими советскими». Два с лишним десятилетия советской власти... «стокгольмского синдрома», помноженного на резонанс толпы. Мгновенная потеря этого помутнения – и столь же мгновенное приобретение другого, такого же.

Чины вермахта (и даже ваффен-СС, и даже гестапо), непосредственно наблюдавшие этот процесс, многократно обращались к Гитлеру и другим нацистским бонзам с призывами воспользоваться уникальной ситуацией и употребить этот громадный человеческий потенциал для борьбы со сталинским режимом и «выключения» СССР из войны. Тщетно. Как однажды обмолвился сам Иосиф Виссарионович, «Глупая политика Гитлера превратила народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии».

И ведь в кои веки раз правду сказал – только сделав сами народы СССР своим союзником в войне против Сталина и большевизма, Гитлер получал единственный шанс на победу в этой кампании. Иное дело, чем обернулось бы для Европы, мира и самой России появление на месте коммунистического СССР некоего союзного нацистам государства (или, что более вероятно, грозди из полутора-двух десятков более мелких образований, общей конфигурацией схожей с постсоветским пространством). Едва ли чем-нибудь позитивным...

Но и при упорном сопротивлении немецких властей число советских «предателей», воевавших на стороне Германии, просто зашкаливает: полтора миллиона человек, как минимум, а по некоторым оценкам – и все два. (Для сравнения – подобных англичан насчитывалось порядка двух-трех сотен, а вместе с валлийцами и шотландцами – чуть меньше тысячи). В конце 1942-го хиви («добровольные помощники») составляли почти четверть личного состава вермахта на Восточном фронте. Во время Сталинградской битвы в 6-й армии Паулюса их было почти 52 тысячи (ноябрь 1942). В трех немецких дивизиях (71-й, 76-й, 297-й пехотных) в Сталинграде «русские» (как немцы называли всех советских граждан) составляли примерно половину личного состава. Даже в таких элитных дивизиях войск СС, как «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Тотенкопф» и «Райх», – в июле 1943-го (Курская битва) советские граждане составляли 5–8 % личного состава. А ведь кроме хиви были и отдельные «русские» формирования Бессонова, Каминского, Гиль-Родионова, Боярского, Смысловского и многих других и громадные по численности национальные формирования народов СССР. А если учесть, что помимо них в «предатели» записывали и изрядное количество военнопленных, «остарбайтеров», гражданских лиц, сотрудничавших с оккупационными властями в качестве учителей, врачей, священников, управленцев и т. д., не говоря уже о членах семей, то получится их, пожалуй, и побольше, чем всех довоенных «врагов народа» вместе взятых. И судьбы этих людей – неотъемлемая часть общей трагической судьбы России в XX веке.

И еще одно: в Первую мировую войну к 1917 году кайзеровская Германия тоже оккупировала значительную часть тогдашней Российской империи, а число военнопленных из

Русской императорской армии перевалило за три миллиона. Россия трещала по швам, армия уже разваливалась, дезертирство и «братания» с врагом становились массовыми. Но при этом не известно ни одного случая, чтобы русский солдат (о поляках, прибалтийских немцах и западных украинцах речи не идет) встал на сторону врага и повернул оружие против своих. А тут миллионы – и это притом, что и враг в этот раз стократно гаже тогдашнего. Что же случилось с народом?

Ответ, по-моему, очевиден...

* * *

«Генерал» – это не историческая эпопея, и уж тем паче не политическая декларация. Это, в первую очередь, история любви двух отчаянно одиноких и безнадежно «несвоевременных» людей, чудом уцелевших в чужом и враждебном мире и обретших друг друга в обстоятельствах, порожденных самой страшной войной в истории человечества, – бывшего генерала Красной армии Федора Трухина и ленинградской студентки Станиславы Новинской¹.

Все события, о которых идет речь в книге, показаны их глазами, через их восприятие и осмысление. В том же духе выдержаны и «Исторические справки», сопровождающие некоторые главы. У большинства читателей это может вызвать недоумение и даже протест: не слишком ли идиллически-сладок образ «России, которую мы потеряли», не слишком ли идеальным предстает русское дворянство, не многовато ли православного елея? И наоборот – почему все, связанное с СССР, с пролетариатом и большевиками, предстает таким хамским и ублюдочным? Почему даже бытовые сравнения – всегда в пользу нацистской Германии? Где, наконец, зверства фашистов и героизм советского народа?

Суть в том, что потаенный образ той самой «потерянной России» – с усадьбами, церквями, балами – позволял главным персонажам романа выжить и не сойти с ума в России советской, органически чуждой и враждебной им. Немецкий плен стал для обоих освобождением из внутреннего ада, но вывел наружу и до предела обострил разрыв между любовью к России и ненавистью к СССР. Оба этих чувства выплескивались теперь открыто. Это двойственное, расщепленное сознание героев я посчитал нужным передать через последовательное размежевание «выражения» и «содержания», то есть создав «разность потенциалов» между тем, как описаны события, и тем, что они на самом деле означают.

И здесь приходится дать несколько пояснений для тех, кто привык к однослойным повествованиям и разучился считывать скрытый смысл.

1. Трухин, как, впрочем, и все советские генералы, пошедшие на сотрудничество с немцами, к Гитлеру и нацистам относился ничуть не лучше, чем к Сталину и большевикам, воспринимая и тех и других как явление одного порядка. Наци, в свою очередь, нисколько этим генералам не доверяли и считали их «необходимым злом». Расклад был предельно ясен: в случае победы Сталина их всех ожидала мучительная казнь, победившему Гитлеру они тоже были бы не нужны: к управлению вассальной Россией допустил бы совсем иных личностей, доказавших свою преданность: Бронислава Каминского, например, или Бориса Смысловского. Да и в «ближнем кругу» имелся на этот случай свой «русский» – Альфред Розенберг. Оставалось уповать на победу вермахта, но уже без Адольфа с его психиатрически-зоологической сворой. Ставка делалась на военный переворот в Германии.

¹ Часть истории Стази легла в основу рассказа о судьбе ленинградской учительницы Станиславы Юрьевны Каменской («Семь писем о лете»). Так что некоторые эпизоды не только перекликаются с «Семью письмами», но и почти дословно их повторяют.

2. Генерал-лейтенанта Власова, появившегося в Германии на второй год войны, Трухин недолюбливал и не доверял ему. Похоже, небезосновательно: вся логика поведения Власова указывала на то, что скрытой его целью было максимально замедлить создание боеспособной русской армии. Выполнял ли он секретное задание Сталина или руководствовался какими-то иными мотивами, теперь уже не скажешь. Факт то, что армия КОНР появилась лишь тогда, когда никакого военного смысла в ней не было, а политический, по существу, свелся к тому, чтобы облегчить СМЕРШ и НКВД работу по установлению «предателей» среди военнопленных и остарбайтеров. Пропагандистское же обеспечение этой акции было проведено на высшем уровне: полностью успели укомплектовать только одну дивизию, еще две – наполовину, а желающих хватило бы еще на тридцать. Перспектива погибнуть в бою оказалась для многих предпочтительнее возвращения на советскую родину. Более того, текст знаменитого Пражского манифеста в больших количествах забрасывался в распоряжение Красной армии – и при каждом «контакте» с советскими войсками (а боевых из них было ровно два) власовцы принимали к себе несколько перебежчиков. А это был 1945 год!

3. После провала покушения на Гитлера в 1944 году Трухин чудом избежал ареста и не разделил участи заговорщиков. Вскоре произошла «историческая» встреча Власова с Гиммлером, фактически сменившим окончательно сбрендившего Гитлера на посту вождя рейха, где было получено высочайшее одобрение на формирование армии КОНР со статусом «войск СС». Для тех, кто был, что называется, «в теме», репутация «борцов за свободную Россию» была подорвана, но до народа эта пикантная подробность доведена не была. «Высокие договаривающиеся стороны» продолжали дурить друг друга – обе пребывали в самом отчаянном положении. 14 ноября в Праге был с большой помпой подписан манифест КОНР, и началась деятельность по созданию освободительной армии, своей энергичностью и, по сути, бессмысленностью походившая на предсмертные конвульсии. Под какого, собственно, противника создавалась эта армия? Власов всячески противился отправке единственной своей боеспособной дивизии на западный фронт, уже, видимо, планируя свое бегство к «союзникам» (хотя какие они ему были союзники?). Проливать русскую кровь кандидат в «спасители России» тоже не хотел. Что-то говорил о волне «народных восстаний» в советском тылу, понимая, что это уже из области фантастики.

4. Что же до Трухина, то он на тот момент уже себя похоронил. Единственное, что побуждало его жить и действовать, было стремление спасти человека, ставшего ему самым близким. Остальное же представляло собой сплошной самообман – последнее средство от черного отчаяния и пустоты...

5. В романе намеренно опущен финальный аккорд земной жизни Трухина и его сподвижников – судебный процесс над генералами РОА, официальные данные о котором внушают большие сомнения, а всевозможные версии и слухи множатся с каждым годом. Строго говоря, как бы мы ни относились к личностям, идеям и побудительным мотивам этих генералов, изменить присяге и принять оружие из рук врага во время войны – тягчайшее воинское преступление, за которое во все времена и при любом строе возможно лишь одно наказание (кроме, добавим, тех случаев, когда изменники переметнулись на сторону победителей). Да и, в сущности, они были мертвы задолго до приведения приговора в исполнение...

Так что героями в прямом смысле этого слова в книге оказываются отнюдь не эти генералы армии-фантома с их «хорошими русскими лицами», умными разговорами и красивыми воспоминаниями, а... впрочем, это, надеюсь, станет понятно и без моих подсказок.

История порой совершает немыслимые кульбиты: через полвека после начала Великой Отечественной войны дело генерала Власова не только ожило, но и в определенном смысле победило. Основы новой российской государственности местами до боли схожи с тезисами Пражского манифеста, а власовское знамя – торговый триколор Российской империи – гордо реет над страной, сокрушившей чудовищный гитлеровский нацизм.

Как писал наш последний, катастрофический император: «Боже, спаси и сохрани Россию».

И последнее: я от всей души благодарен моим друзьям, оказавшим огромную помощь в написании этой книги:

- **Марии Барыковой**, за помощь в работе над текстом и бесценные архивные материалы;
- **Андрею Буровскому** и **Олегу Широкому**, за исторические справки и комментарии;
- **Серайне Сигрон**, за вставки на немецком.

Книга первая Рассвет над Дабендорфом

*В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.*
Ольга Берггольц

29 июня 1941 года

Мелкая латгальская пыль так непохожа на пух паникарповских дорог, всегда, даже в самые злые и жаркие июльские дни, обволакивающий ступни негой, по-детски веселой, щекочущей, обещающей. Так ведь то – земля родная, из которой восстали и в которую уйдем, земля, которая уже едва ли не наполовину – прах предков. А здесь колючая, немая злая пыль, так напоминающая невыразительные лица окрестных крестьян, в бесцветных глазах которых не прочтешь ничего. Почему-то именно теперь он нутром понял, почему именно латгальцы так рьяно служили новой власти четверть века назад, почему так зверствовали: пустота не может не оказаться заполненной, ей нечем противостоять ни злу, ни добру, и, может быть, именно пустота – главный наш грех. Но настолько страшна была даже просто мысль о пустоте, страшна даже сейчас, на седьмой день войны, что он постарался отогнать ее, искусственно вызвав перед внутренним взором родной дом с высоким мезонином в три окна под двускатной кровлей... и запах пряностей, столь любимых бабушкой Марьей Александровной, на миг забил вонь бензина и кислоту пороха. Ах, каталоги «Иммера и Матера», анис, тимьян, фенхель... Черт, ведь одни названия чего стоили, капуста Ленорман², шарлаховая земляника³ и розы, розы, розы... И девичьим румянцем тут же полыхнуло к северу от дороги – рвались девятифунтовые, как он все-таки предпочитал говорить, даже столько лет проводя в Академии.

– Свернем? – предложил шофер, благо впереди бежала свёртка на юг, терявшаяся в нетронутых пока соснах.

– Глупости, – отрывисто ответил он и махнул вперед, где должна была стоять горно-стрелковая дивизия, сумятицей войны оказавшаяся не среди горных вершин, а в латгальских болотах.

– Зря, товарищ генерал-майор, – осторожно посетовал ординарец, – нынча и Господь Бог не ведает, где кто, а уж нам грешным того подавно неведомо. – Белобрысый и длинный сержант Пасынков был взят им на должность исключительно за фамилию, напоминавшую начальнику штаба о первых владельцах любимого Паникарпова. Впрочем, парень оказался толковый и верующий, хотя и не герой. – Право слово, лучше б свернули полегоньку, вперед бы вон товарища офицера послали, поскольку ему, стало быть, как офицеру положено... – Пасынков сделал неопределенный жест в сторону сидевшего впереди энкавэдэшника, всученного им напоследок начштаба Клёновым.

² Декоративная капуста. Ее вкусовые качества не превышают качеств обычной, но розовый кочан больше похож на розу, чем на овощ. – *Здесь и далее примечания автора.*

³ Так назывались сорта клубники, ягоды которой были ярко-карминного цвета.

– Глупости, – едва не сбившись на французский, лениво повторил генерал. – Поехали, так поедем, – и едва не добавил: «Все равно – все бессмысленно».

Бритая шея лейтенанта впереди напряглась и покраснела, но голова не повернулась.

– Поехали-поехали, как у нас на Костромщине говорят, избным теплом недалеко уедешь.

Еще минут двадцать они проехали в полном молчании, если не считать далеких разрывов, судя по пунктуальности – немецких. Он ехал, почти засыпая, или, точнее, стараясь заставить себя засыпать. Для этого уже несколько лет как он выработал странный прием, опять-таки возвращавший его в прошлое. И главным козырем этого приема была вода, вода, смыкавшаяся над головой. Тогда на пароме, ходко шедшем к пристани у Молочного Вала, он смотрел в глаза женщине, тоскливые глаза цвета августовской Волги, и знал, что опять ничего не скажет, потому что и сами слова, и действие, которое может быть этими словами вызвано, не имели больше смысла. И крик, гулким эхом вдруг прозвучавший по всему парому, был и его криком боли – боли невыразимости и отсутствия смысла. Впрочем, реальность вступила в свои права мгновенно, и он, не раздумывая, как был, в генеральской форме, упруго прыгнул в воду, где рыбацким поплавком пропадала и вновь появлялась головка с нелепыми жидкими косицами. От девочки и в воде отвратительно пахло суррогатным постным маслом, она царапалась и кусалась, а он почти с наслаждением погружался порою в воду с головой, выталкивая ее на поверхность по направлению к парому. В эти секунды он не принадлежал никому... На берегу уж готовы были чествовать его героем, но взгляд женщины оставался по-прежнему испуганным, словно навеки, и непроницаемым. И он, можно сказать, убежал, подсознательно выбрав не более короткий путь налево, где смущал бы своим видом юных педагогичек, а направо через Дебрю. И с тех пор, стараясь заснуть, он усилием воли вновь вызывал то ощущение свободы, даваемое смыкавшимися над головой волнами.

Чешский «панцер-35Т» выскочил из-за поворота почти бесшумно и даже не стал тратить время ни на наводку башни, ни на пулеметы; коренастый офицерик, спокойно восседавший в башне, почти неторопливо достал пистолет и первым делом прострелил колесо их машины. Вторым – уложил энкавэдэшника. Камера лопнула, и машина завертелась раненым зверем, вздымая тучи пыли, и в этом желтоватом облаке они вдвоем с ординарцем бросились по полю влево, беспорядочно отстреливаясь.

Он бежал, вымахивая своими длинными ногами, как хорошая борзая, как несравненная Малуша, приносящая отцу призы и губернских, и полковых охот, и пьянило чувство непонятной свободы. Он снова был ничей – или же сам по себе, не комроты, не комбат, не краском, не курсант, не профессор оперативного искусства, а просто золотой мальчик, чья улыбка обвораживала и чье сердце открыто любви и миру. В этом летящем состоянии он поначалу даже не ощутил боли, рванувшей не душу, а ногу, и еще какое-то время легко бежал по топкому лугу. Впереди петлял настоящим русаком Пасынков, добавляя сходства с охотой. Громко рассмеявшись, он упал в траву, сминая едва начавшие цвести бедные местные цветы.

Он лежал, как в детстве, уткнув стриженую голову в разноцветный теплый мир неведомых травинки и насекомых. Хорошо бы стать травой и землей, не путем долгих некрасивых мучений и превращений, а вот так сразу. Эта идея действительно долго была постулатом кодекса их детской страны Панголии. Все панголины, от маленькой Маруси до взрослого Сержа, знали, что могут стать ничем за совершенный грех. И, верно, так искренна и чиста была их детская вера, что они и стали ничем – во всех возможных и невозможных смыслах. Живым оставался он один, но и он был еще большей пустотой, чем они, погибшие.

Бронзовый жук неторопливо полз по прогибающемуся под ним стеблю, и как будто бы стеблем этим был он, наследник славного имени, обширных земель, дворянской чести, а жуком – все минувшие двадцать четыре года. Жук прикидывался то полковым комитетом, то орденом Красного Знамени, то особым факультетом, он был тяжек и омерзителен, хотя под

жесткими надкрыльями таились у него прозрачные тонкие крылышки мечты. Мечты, которая опьяняла и опьянила. Тут впервые с тридцать первого года, со злополучной «Весны»⁴, когда, вместо того чтобы отправиться вслед за Ольдерогге⁵ и Штромбахом⁶, получил новый чин, он пожалел, что бросил пить. Хороший коньяк в генеральской фляжке сейчас не помешал бы. Но не было ни коньяка, ни фляжки – да и времени, пожалуй, тоже больше уже не было. Призрак жизни таял окончательно.

Впрочем, к тому времени, когда подбежал коренастый офицерик в сопровождении такого же невысокого солдата, он уже успел сесть, стараясь держаться прямо и не крикаться от боли. «Ну и маломерки, – усмехнулся он, меряя всех высотой своих метра девяносто двух, но быстро одернул себя: – Танкисты, всё верно...» Вслух же спокойно произнес:

– General Feodor Trukhin, Stellvertreter Generalstabes Pribaltijskij Militaerbezirk. Ich bin Eurer gefangen. Habe die Ehre!⁷

О ране он пояснить даже не удосужился, полагая любую рану делом на войне обыкновенным.

Немцы нахмурились, и стало ясно, что им совсем неохота возиться теперь со столь важным пленником, и веселая охота с легко убитой дичью оборачивается нудной возней со штабом, который неизвестно где.

«А и правда, пристрелили бы сейчас – да и дело с концом. Так ведь не решатся, сволочи, со своим пунктликхайтом...»

Было, судя по солнцу, около двух часов пополудни двадцать девятого июня сорок первого года, а где-то недалеко должно было находиться местечко Екабпилс.

Спустя четыре месяца Федор Трухин был навсегда вычеркнут из списков Красной армии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта № 06 от 30 июня 1941 г. о результатах боевых действий войск фронта

Начальнику Генерального Штаба Красной Армии

Начальникам штабов 8-й и 27-й армий

Начальникам штабов Западного и Северного фронтов

⁴ Дело «Весна» (также известно как «Гвардейское дело») – репрессии в отношении офицеров Красной армии, служивших ранее в Русской Императорской армии, и гражданских лиц, в том числе бывших белых офицеров, организованные в 1930–1931 гг. органами ОГПУ. Только в Ленинграде в мае 1931 г. по этому делу было расстреляно свыше тысячи человек.

⁵ Ольдерогге Владимир Александрович (1873–1931) – окончил Первый кадетский корпус, а в 1901 г. – Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. Службу в царской армии закончил генералмайором и командиром 1й Туркестанской стрелковой дивизии. Весной 1918 г. добровольно вступил в РККА и стал военруком Новоржевского участка Завесы. С февраля 1924 г. служил начальником Объединенной школы имени Каменева, затем главным военруком Киева. На следствии по делу «Весна» он сознался в том, что являлся руководителем контрреволюционной офицерской организации на Украине, и расстрелян 27 мая 1931 г. В 1974 г. определением военного трибунала Киевского ВО реабилитирован, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

⁶ Штромбах Ярослав Антонович (1894–1931) – чех по национальности, служил в армии АвстроВенгрии и во время Первой мировой войны сдался русской армии: хотел воевать на стороне славян против немцев. Из 200 тысяч чешских и словацких военнопленных в 1916 г. 70 тысяч стали добровольцами Чехословацкого легиона. Ярослав Штромбах воевал на ЮгоЗападном фронте, а в 1917 г. назначается взводным, избирается председателем ротного комитета, членом полкового и бригадного комитетов. Направлен на Урал, где с лета 1918 г. в составе РабочегоКрестьянской Красной Армии Пензенской губернии сформирован 1й Пензенский чехословацкий революционный полк, – по одним данным, под командованием Штромбаха, по другим – при его службе комиссаром. С 1929 г. Я. А. Штромбах – командир 44й стрелковой дивизии и начальник гарнизона в Житомире. 4 декабря арестован по подозрению в связях с чехословацкой разведкой и расстрелян 27 мая 1931 г.

⁷ Генерал Федор Трухин, заместитель начальника штаба Прибалтийского ВО. Я ваш пленный. Честь имею.

ОПЕРСВОДКА № 06 К 5.10 30.6.41 ШТАБ СЗФ ПСКОВ

Карта 500 000

Первое. Противник по-прежнему развивает удар в направлениях: Крустпилс, Псков; Двинск, Псков; вспомогательный удар наносит на Ригу.

Второе. В течение 30.6.41 г. наши части, оказывая сопротивление, продолжали отход на северный берег р. Зап. Двина.

Третье. 8-я армия в течение дня занимала оборону по северо-восточному берегу р. Зап. Двина и после отхода приводила части в порядок.

В районе Крустпилс, на западном берегу р. Зап. Двина, сосредоточено замаскированных около 350 танков.

Связь со штабом армии только по радио с большими перебоями. Точное положение частей армии не установлено. Посланы делегаты.

Четвертое. 27-я армия ведет сдерживающие бои, прикрывая направление Двинск, Псков.

10-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десантного корпуса (667 человек, 7 орудий) к исходу 30.6.41 г. вышла на рубеж юго-западный берег оз. Лубана, Сондори. В 11.00 30.6.41 г. вела бой с отдельными танками противника.

Группа генерала Акимова:

1-й стрелковый полк (300 человек) занимает район обороны Бебры, Яшмуйжа.

46-я моторизованная дивизия (400 человек, 7 орудий) обороняет ст. Аглона, оз. Бети.

201-я воздушно-десантная бригада (400 человек) обороняет (иск.) оз. Бети, Шумская.

185-я моторизованная дивизия (2259 человек, 23 орудия и 33 орудия противотанковой обороны) обороняет рубеж (иск.) Шумская, (иск.) Краслава.

42-я танковая дивизия (270 человек, 14 орудий, 7 танков) действует в районе Краслава и южнее.

Перед фронтом южной группы армии действует 256-я пехотная дивизия, до двух полков пехоты невыясненной нумерации, 3-я танковая дивизия, 48-й, 46-й и 3-й артиллерийские полки и до одного мотоциклетного полка.

Связь со штабом армии действовала с большими перебоями и только к 24.00 30.6.41 г. была восстановлена. Посланы делегаты.

Пятое. Укрепленные районы.

Псковский и Островский укрепленные районы заняты девятью пулеметными ротами и двумя сводными отрядами Управления начальника строительства; в резерве – батальон политкурсов Ленинградского артиллерийского училища; противотанковой артиллерии нет.

46-я танковая дивизия, занимающая район Опочка, не имеет противотанковых орудий, боеприпасов и пулеметов.

Шестое. Тылы армии до сих пор не организованы; очень много людей безоружных и необмундированных. Случаи самовольного ухода с фронта продолжают иметь место.

Седьмое. Сведений об 11-й армии нет.

Восьмое. Военно-воздушные силы Северо-Западного фронта в течение 30.6.41 г. уничтожали танки, артиллерию и моторизованные колонны противника в районах Крустпилс, Ливани, Даугавпилс, не допуская их на восточный берег р. Зап. Двина.

Разрушали переправы через р. Зап. Двина на участке Крустпилс, Даугавпилс.

Прикрывали железнодорожные узлы Псков, Остров, Идрица и действия бомбардировочной авиации.

Результаты действий и потери уточняются.

Девятое. Штаб Северо-Западного фронта – лес 12 км южнее Пскова.

Начальник штаба Северо-Западного фронта

генерал-лейтенант П. Кленов

Начальник Оперативного отдела комбриг Щекотский

28 июня 1941 года

В этот день Станислава Новинская, или как называли ее в своем кругу – Стази, явно в честь героини вполне признаваемой большевиками оперетты⁸, шла по Девятой линии к Академической типографии. Она тщетно пыталась снова представить себя школьницей – ведь и пошла она по этой линии только потому, что хотела повторить свой каждодневный путь в школу, в бывшую Василеостровскую гимназию ведомства императрицы Марии. В принципе весь Остров делился для нее на две неравные части: до Девятой, где были школа и Университет, и дальше, нечто серое, рабочее, враждебное. Но попытка обмануть время не удавалась: вполне спокойная обычно «девятка» теперь бурлила, обтекая островки подвод, полуорганизованных отрядов, военных машин, тормозящих у райкома на углу. Прошло даже жалкое стадо коровенок, которые истошно мычали, шарахались и оставляли на тротуарах водянистые лепешки. Стази вспомнила, как в детстве, отдыхая рядом с бывшим имением Половцовых, а ныне санаторием НКВД, они играли с местными в комсомольцев-добровольцев, попадавших в плен к белой сволочи. Тогда «комсомольцев» – не всегда без удовольствия, между прочим, – сталкивали с высокой горы, надо было катиться и кричать что-то пафосное про советскую родину, и частенько бывало так, что рот залепляли раскиданные тут и там жирные коровьи лепешки...

Поприличней одетые дамы тоже шарахались от коров, и было ощущение, что мир сдвинулся с вековых основ и катится в неизвестность. И хотя горожане пережили уже и штурм сберегательных касс, и давки в продуктовых, и изъятие телефонов, но все это были дела, так сказать, городские, к тому же не так давно бывшие и при начале финской – пусть и не в таком размере. Но сейчас вторжение в город деревни казалось знаком чего-то действительно неведомого, никогда ранее не случавшегося и страшного.

Стази усмехнулась: а ведь она пришла сюда с Невского в надежде успокоиться, найти какие-то подтверждения того, что все, собственно, стоит на своих местах. На Невском было совсем плохо. Около полудня, как раз тогда, когда Стази вышла из Дома книги, где царила пустота и можно было спокойно полистать новые издания, она даже не увидела, а ощутила, как вся толпа качнулась к противоположной стороне проспекта, и прошелестел какой-то не то вздох, не то стон. Он ударился о колоннаду и вернулся, пахнув Стази в лицо и грудь горячей волной ужаса. Она зажмурилась, а, открыв глаза, невольно обратила их к небу, успев заметить, что и вся замершая на миг толпа задрала головы в том же направлении.

Высоко в прозрачном, какое бывает в Ленинграде только в июне, небе, где-то над бывшим Министерством внутренних дел, висел в небе огромный крест. Крест был католический, четырехконечный, многие падали на колени и истово крестились среди бела дня и у всех на виду.

Стази прислонилась к парапету моста, заставила себя подумать о чем-то реальном – появилось веселое лицо брата, такое, с каким три дня назад он прощался с ней на Варшавском, – но крест не исчез. Он сиял над городом, безучастный, огромный, словно светящийся изнутри.

– Спасет, спасет, пронесет смертушку, – прошептал старушечий голос слева, но тут же какой-то человек профессорского вида вдруг, как в церкви, потянул с головы белую шляпу и твердо произнес:

– Укрепи, Господи, в испытаниях грядущих.

Впрочем, все это длилось никак не больше минуты, ибо тут же из-за собора появилось несколько конных милиционеров, постовые засвистели, да и просто военные принялись

⁸ Имре Кальман. «Сильва» («Королева чардаша»).

быстро направлять толпу в прежнее русло. Но крест висел, и Стази подумала, а не пошлют ли сейчас сталинских соколов подняться и уничтожить эту провокацию... или знамение.

Она почти бегом рванула подальше от Невского, а когда подняла глаза уже около Красного моста, на небе лишь перламутрово переливалось слабое сияние. И Стази стало страшно.

А ведь еще вчера она презрительно доказывала соседке-старушке, бывшей горничной хозяина дома, что слухи – суть такое же оружие врага, как пушки и бомбы. Саввишна же с жалостью смотрела на нее, утирая края беззубого рта пестреньким платочком.

– И, Станюшка, и чему вас в этой школе не научат! Да какие ж это слухи, когда вчера весь Князь-Владимир⁹ говорил: так и ходит этот мужичок, так и ходит, с могилки на могилку перелетает, а крылушки-то у него радужные, как стеклянные...

– Глупости какие, Саввишна! Стеклянные крылья не будут никого держать!

– А его вот держат – на то, значит, воля не наша. Перелетает он, значит, перелетает и приговаривает: бу-бу-бу... А прислушались: запасайте бобы, запасайте гробы, как съешьте бобы, пригодятся гробы! Вот так-то!

– Чушь какая! – неожиданно поддержала Стази вошедшая на кухню еще одна соседка, Налымова. – А вот у нас на работе снова аресты пошли. Да и этнических немцев выкидывают вон из города. А вы – бобы. – Она шваркнула на плиту чайник. – А ты, Станислава, чем с дурой-бабой препираться, вышла бы к Промке¹⁰, там папиросы дают и тянучки.

– И то правда, – поддакнула Саввишна. – Кто ж робенка-то научит теперича, как не мы?

Отец Стази пропал еще в год ее рождения, в двадцать первом, а мать, сотрудник археологического сектора, три дня назад уехала с первым эрмитажным составом.

– Никуда я не пойду и покупать ничего не собираюсь, – отрезала Стази, которую эта возня с продуктами унижала и даже оскорбляла. А хороших сигарет ей вдоволь приносили поклонники...

Но теперь виденье креста залило все и вокруг, и внутри нее самой резким светом, в жестокой прозрачности которого стало ясно: их всех ждет апокалипсис. И берггольцевские стихи, читанные на днях по радио, вдруг обрели плоть и смысл:

Родина моя в венце терновом,
С темной радугой над головой...

Стази подняла глаза: впереди уже сверкала колокольня Благовещенья¹¹. И тогда она резко повернулась и побежала обратно. В воздухе стоял запах пота и табака от фабрики, и запах этот вдруг показался ей правильным, нужным и почти родным.

В военкомате запах не исчез, к нему только добавилась хорошая мужская нотка новенькой кожи от скрипящих ремней и портупей. Вверх и вниз бегали измученные серые люди, входили и выходили вооруженные дружинники, сердито заливались телефоны. Всем было явно не до нее. Стази остановилась в холле. У нее еще было время подумать, возможность уйти, но безжалостный свет, открывший ей окружающее и себя, уже отгородил ее от мира прошлого. Она не могла любить советскую власть – но и не любить родину тоже не могла. Она ненавидела большевиков – но была плотью от плоти русских полей и лесов, русской культуры, русской земли... И, видно, чувства эти настолько явно читались на ее открытом,

⁹ Православный храм Святого Благоверного Князя Владимира в Петербурге на Петроградской стороне; известен с 1708 г., архитекторы Земцов, Трезини, Ринальди и Старов.

¹⁰ Бытовое название Дворца культуры Промкооперации, архитекторы Левинсон и Мунц, 1931–1938 гг., ныне Дворец культуры им. Ленсовета.

¹¹ Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня, возведенная неизвестным архитектором на углу Малого проспекта и 9-й линии В. О. в Петербурге в 1750–1765 гг.

породистом и честном лице, что многие бросали на нее откровенные удивленно-неприятные взгляды. «Только не дать им закрыть мой свет», – прошептала она и медленно поднялась на второй этаж, где с каменным лицом толкнула дверь кабинета, возле которого никого не было.

Седой военком, не поднимая головы, буркнул, чтобы она вышла вон, но ледяное Стазино молчанье в ответ все же вынудило его оторваться от стола.

– Свободное владение немецким, третий курс филфака. Готова исполнить любую работу, где мои знания будут наиболее полезны.

– Происхождение?

– Из служащих.

– Близкие родственники?

– Отец умер в тридцать первом, мать в эвакуации с Госэрмитажем, брат призван в ВВС.

– Замужем?

– Нет.

Военком хмыкнул и вложил корявый палец в телефонный диск.

– Только я не вашего района, я из Петроградского, но так вышло.

– Без разницы. Канель, Храпов говорит. Тут с немецким... Что? А, ясно, сейчас... Ну-ка, как вас там...

– Станислава Новинская.

– Скажите-ка в трубку по-немецки...

Стази вспыхнула и на прекрасном, нежном, журчащем южнонемецком проговорила в грязную трубку:

Zwei Hebel viel auf's irdische Getriebe
Sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebe...¹²

Как ни странно, но на том конце провода, очевидно, поняли, потому что резкий мужской голос приказал:

– Сегодня к 19.30 с вещами, кабинет 356.

А на улице из черного репродуктора заливался Печковский¹³:

*«... остались мне одни... одни страдания... оплакивать тебя я буду вечно...»*¹⁴

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

*Листовка, распространяемая среди православного населения
России в июле 1941 года*

ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

Православные христиане, читайте изумительное пророчество,
сделанное схимонахом Иоанном в 1600 году.

¹² Спасемся по земному мы условию, // Во-первых, долгом, но верней – любовью. (Конец эротического стихотворения Гёте «Дневник»).

¹³ Николай Константинович Печковский (1896–1966) – выдающийся оперный певец, тенор.

¹⁴ Ария Валентина из оперы «Фауст» Гуно.

Пришествие его считалось совершившимся уже не один раз, и не один раз люди обманывались, так как все злодеи мира похожи друг на друга.

Настоящий Антихрист будет один из диктаторов страны Лютера, он будет выдавать себя за посланника Бога.

Этот князь мира будет принимать клятву на Евангелии и будет называть себя рукой Всевышнего, призванной покарать народы.

Оружие его – хитрость и вероломство, его шпионы рассеются по всей земле, и он обладает тайнами сильных людей.

Он подкупит ученых, которые засвидетельствуют, что он призван для совершения Божественной миссии.

Война даст ему возможность снять маску. Та война, которая уже через две недели станет всеобщей.

В эту войну будут вовлечены все христианские народы, все мусульмане и отдаленнейшие племена. С четырех концов света двинутся войска. На третью неделю ангел просветит человеческие умы, и люди поймут, что воюют с Антихристом, и что они должны победить его, если не хотят стать его рабами.

Антихриста узнают по многим признакам. Он будет избивать священников, монахов, женщин и детей и стариков, он никому не даст пощады, он пройдет по земле, как варвар. Он будет выдавать себя за Христа.

Его слова будут походить на христианские. Но его поступки будут поступками Нерона. В гербе его будет черная свастика. И подобный же герб будет в гербе его союзника, другого дурного монарха. Чтобы победить Антихриста, придется убить людей больше, чем их было во всем Риме, но понадобится усилие всех государств, потому что петух, леопард и горный орел не смогли бы осилить черного дракона. Если бы им не помогли молитвы и участие всего человечества. Никогда еще человечество не избегало большей опасности. Так как триумф Антихриста был бы триумфом Сатаны.

Ибо предсказано, через 20 веков после воплощения слова воплотится, в свою очередь, зверь и будет угрожать принести земле столько же зла, сколько блага принесло ей Божественное воплощение.

Армия Антихриста будет многочисленна. Среди нее будут христиане, так же как будут магометане и язычники среди армий мира, защищающих агнца.

В первое время войны вся земля пропитается кровью. Красными будут небо и вода и даже самый воздух.

Черный дракон нападет на петуха, который потеряет много перьев, но который мужественно отразит нападение. Однако у него не хватило бы сил, если бы ему не помог леопард и его когти.

Черный дракон залетит тогда с другой стороны и разгромит половину владений петуха.

Горный орел налетит на черного дракона и его союзника и уничтожит этого союзника, тогда на помощь поспешит черный дракон, который на время оставит в покое петуха.

Битвы в начале войны покажутся ничтожными в сравнении с теми битвами, которые произойдут в стране Лютера.

Когда зверь почувствует, что ранен, он рассвирепеет, горному орлу, петуху и леопарду понадобятся месяцы, чтобы уничтожить его.

Реки будут завалены горами трупов, погребать будут только принцев крови и первых военачальников, на помощь мечу придет голод. Антихрист несколько раз будет просить мира, но мира ему не дадут до тех пор, пока победа над ним не будет полной.

Защитники агнца не отступят до тех пор, пока у Антихриста в войске останется хоть один солдат.

Антихрист потеряет свою корону и умрет в одиночестве в изгнании. Империя его будет разделена на 22 государства, но ни в одном из них не будет ни войска, ни оружия.

Горному орлу будет принадлежать счастье спасения Европы, населенной христианами.

Тогда наступит вечный мир, и каждая нация будет жить по законам справедливости и правды.

Счастливы будут те, кто победит в борьбе, они узрят новое человечество и новое царство, которое наступит после падения черного дракона.

29 июня 1941 года

Любезнейший Штрик-Штрикфельд¹⁵ был само обаяние, хотя в данном случае ему и притворяться не приходилось. Дворянин, петербуржец, образованный человек, всё на равных. Да и мысли у него были трезвые, без фанатизма, да и случай казался ему ясен. Правда, видимо, что-то потихоньку грызло неглупого и веселого немца, если все вечерние разговоры он неизменно сводил к немоу вопросу в серых балтийских глазах: как выжил?

– Думаете, ворожил кто? – с наслаждением затягиваясь хорошей сигаретой, вздыхал Трухин. – Самому бы узнать, право слово.

– Но, согласитесь, Федор Иванович, ваша биография позволяет задать подобный вопрос.

– Неужели вам настолько известна моя биография?

– Да вы и сами не скрывали ничего, надеюсь. Разумеется, я понимаю, – лицо Вильфрида Карловича на секунду становилось грустным, и было ясно, что он-то действительно понимает, – что есть в жизни моменты, так сказать, неизъясненные, мистические, которые имеют огромное значение и влияние на всё последующее.

– Ну, ежели они мистические и неизъясненные, как вы изволили выразиться, то и изъяснить я их не могу.

– А ведь вся биография говорит против вас.

– Согласен. Но ведь душа – потемки, а уж наша русская – и тем более. Поверьте, рад бы – да не могу, не знаю. А вам не кажется, что если человек будет абсолютно честно – не перед людьми, а перед собою и Богом – выполнять все, за что бы ни брался, что бы ни выпало, то станет неуязвимым для зла?

– Я подумаю над этим, – совершенно серьезно ответил Штрикфельд. – Я рад, что у вас подобный взгляд на вещи, он вам еще ох как понадобится.

– Это вы к чему?

– А к тому, уважаемый Федор Иванович, что придется все-таки переправить вас в лагерь.

– Я давно этого жду. Меня мое исключительное положение не устраивает... и тяготит. Когда отправка?

– Завтра.

– Отлично. С Богом. И в таком случае смею закончить нашу беседу.

Трухин встал и в очередной раз ощутил себя великаном в сравнении с маленьким, вертким Штрикфельдом. От свежесрубленных досок штабного барака, особенно наверху, сладко пахло сосновой смолой.

– Надеюсь, вы понимаете, что ваше обаяние и знания должны пригодиться вам и в лагере.

– Понимаю, что вы этого ждете, но запомните: никогда я не применял ни то ни другое специально – или во вред кому-то.

– «Аристократ, идущий в революцию, – обаятелен»¹⁶, – неожиданно щегольнул знанием русской классики и тонким проникновением в проблему Штрикфельд.

¹⁵ Штрик-Штрикфельд Вильфрид Карлович (1897–1977) – русский и немецкий офицер. Прибалтийский немец, учившийся в Реформатской гимназии в Петербурге. Воевал в русской армии против Германии в Первую мировую войну, в Гражданской войне – на стороне Северо-Западной Добровольческой армии. В 1920–1924 гг. работал по мандату Международного Красного Креста и Нансеновской службы по оказанию помощи голодающим в России. В 1924–1939 гг. жил в Риге.

¹⁶ Цитата из романа «Бесы» Ф. Достоевского.

Трухин промолчал и, не прощаясь, вышел, тяжело опираясь на выданную ему в госпитальном бараке палку (ранение оказалось сквозное, кости остались целы), под июльское ночное небо.

Было оно здесь плоским и серым, почти физически давящим на широкие плечи. Трухин не спеша прошел к своему бараку, одному из двух, наскоро построенных в этой литовской глуши для высших советских офицеров. Офицеров этих оказалось на удивление много; и пусть для большинства выбор этот не был осознанным, скорее, импульсивным, не говоря уже о тех, кто попал раненым, в полубессознательном состоянии... и все же... все же... все же.

Он сел, прислонившись к нагретым доскам, и согнул ноги, превратившись в гигантского кузнечика, каких, бывало, ловили они в Шахове августовскими вечерами. Именно в такой вечер ловли кузнечиков – а для него, гимназиста-восьмиклассника, это была уже, скорее, ловля взглядов Валечки Гуссаковской – в доме послышался пронзительный крик горничной. В кабинете стоял отец и дрожащими руками пытался отодвинуть от себя по сукну стола сероватую бумагу.

– Кочковизни... Кочковизни... – синеющими губами твердил старик, а они все – Серж, Ваня, Маша, Валечка с Александром и он – стояли полукругом, пока Маша не догадалась схватить бумагу и прочесть. Алеша, старший, любимый, ушедший на войну через четыре дня после ее объявления, был убит в Польше при переправе у фольварка Кочковизни. Тело оказалось разнесено снарядами в клочья, и хоронить было нечего. В этот день исчезла страна Панголия, закончилась так никогда и не высказанная любовь к Валечке, и жизнь весенним ручьем понеслась по другому руслу.

Следующий по старшинству сын традиционно должен был заниматься наукой, но для Сергея, еще в пятом году попавшего под надзор, столичные университеты оказались закрыты. Следовало поступать ему, Феде. Душа не лежала, но верность традиции, на которой держится род... и летом пятнадцатого он оказался на юридическом в Москве. Гордость курса, кумир барышень, легкий, летящий, словно в вечном танце, Тео...

– Не жабься, генерал, – прервал его кашляющий голос соседа по бараку.

– Все мы здесь генералы, – усмехнулся Трухин и вытащил штрикфельдовскую пачку. – Что не спите? Грехи наши тяжкие давят?

Пехотный генерал Солодухин, сдавшийся едва ли не с развернутым знаменем, не вызывал у Трухина симпатии, но провоцировал любопытство, подогреваемое еще и сознанием того, что сам он так не смог бы. Ни как офицер, пусть даже и советский, ни как дворянин.

– Грехи пусть их давят, усатых, – огрызнулся Солодухин. – На мне греха нет. То, что оставалось, сберег, крови зря не пролил.

– А присяга?

– А для тебя, генерал, присяга важнее или люди? Живые, между прочим, люди, братушки, с той же земли выросшие, того же лиха хлебнувшие, с младенчества одну заботу и нужду знавшие?

– Ну если б так рассуждали все полководцы, – рассмеялся Трухин.

– И правильно бы делали, если б так рассуждали, меньше б дерьма на свете было.

– И для чего же вы их спасли, позвольте полюбопытствовать? Для мирного труда на благо рейха? Или для пушечного мяса в русских легионах, о существовании которых еще бабушка надвое сказала?

– А ты не финти, генерал, – опять обозлился Солодухин. – Ты сам-то для чего здесь?

– Я? – Трухин улыбнулся в начинающее наливаться бледно-розовым светом небо. – Я – чтобы ранним утром выйти на крыльцо, прислониться виском к белой колонне и почувствовать, что мир гармоничен, свят и прост. Да, впрочем, вы не поймете. Спокойной ночи.

– Малахольный, твою мать! – услышал он уже в бараке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Выписка из боевой аттестации № 1113 от 29 ноября 1920 года

«Товарищ Трухин – образцовый командир, неоднократно личной храбростью увлекал красноармейцев, благодаря чему блестяще выполняет боевые приказы. Был назначен батальонным командиром, помощником командира полка и представлен к ордену Красного Знамени».

Выписка из боевой аттестации № 1901 от 1 августа 1921 года

«Товарищ Трухин в бытность командиром роты был примером выдержанности и дисциплинированности. Курсантскую массу любил больше самого себя. Его имя занесено на почетную доску».

Выписка из приказа № 335 РВС СССР от 6 ноября 1924 года

«За личную храбрость на фронте, в частности за отличия в боях с петлюровцами в ноябре 1920 года, Ф. И. Трухин награждается орденом Красного Знамени».

Выписка из академической аттестации от 15 июля 1925 года

«Товарищ Трухин проявил трудоспособность и активность. Академический курс усвоил хорошо, особенно иностранные языки и цикл стратегии. Общественно-политические науки усвоил слабее. Дисциплинирован, хороший товарищ.

Подпись: начальник Академии Р. П. Эйдельман»

Выписка из служебной аттестации УВО от 14 сентября 1928 года

«Трухин – образцовый командир. Интеллигент. Прекрасно разбирается с обстановкой. Любит военное дело, всегда в частях, в поле, весьма решителен. Прекрасный штабной работник.

Подпись: командир армии В. К. Блюхер»

Выписка из аттестации Особого факультета Академии Генштаба от 4 ноября 1936 года

«Трухин – отлично подготовленный командир, с большим общим развитием и большим знанием в области тактики и оперативного искусства. Отменно знает штабную службу, прекрасный преподаватель и методист. Тактичен и выдержан. Дисциплинирован, пользуется авторитетом у слушателей и преподавателей. Политически выдержан и развит хорошо. Может быть использован на работе в больших штабах.

Подпись: начальник Особого ф-та комбриг А. В. Павлов»

9 июля 1941 года

Всю последующую неделю Стази удивлялась лишь одному: как она, всегда и везде превыше всего ценившая индивидуальность и личную свободу, теперь почти с наслаждением ощущает себя песчинкой огромного, неведь кудадвигающегося бархана. Не надо было ни думать, ни принимать решения, ни нести ответственность. Все то, к чему с детства приучали ее мать и родовые истории, терявшиеся где-то в темных временах опричнины, стало вдруг ненужным и неважным. А теперь ей надо было лишь отработать красивую стойку с ладонью у виска да обрести умение изящно разворачиваться на каблуках офицерских сапог. Сапоги эти, конечно, были не по форме, но солдатская кирза вызывала омерзение, и она тут же свистнула паре поклонников. На следующий день прелестные, мягкие, тут же вызывающее желание погладить юфтевые сапожки с благородным тусклым блеском стояли перед Стази – и она посчитала, что ее военная карьера удалась. Всяческие – и по большей части достаточно бестолковые – указания, которые давал ей тот самый Канель из таинственного отдела, не открывали перед ней ничего нового и казались простой формальностью. Он твердил о долге, о присяге, о победе, о расплодившихся вокруг шпионах, но о деле говорил очень мало. Да и какое было у нее впереди дело? Переводить, скромно стоя в уголке при допросах? А и будут ли еще эти допросы, когда немцы прут железной лавиной и допрашивают пока больше наших? Вон Колечка Хайданов, тот самый, с юфтевыми сапогами, близко стоявший к самым высоким кругам ЛенВО, и тот шепотом говорил, что в плен уже взяты люди такого уровня, тааакого...

Но Стази приказывала себе тут же забывать подобные вещи – науку выживать она усвоила с детства, можно сказать с рождения. Гораздо хуже дело обстояло не с теоретическими пока немцами, а с тем реализмом, которые заполнили город. Коровы на улицах исчезли столь же неожиданно, как и появились, оставив после себя лишь неприятное ощущение фантома; очереди в сберкассы тоже рассосались, как по мановению волшебной палочки; ополченцы существовали, но где-то на периферии города и сознания. Правда, однокурсницы уверяли, что не все так просто, что не такие уж там все и добровольцы, и что людей, говорят, хватают прямо на улицах. Но насилием кого можно было тут удивить? Гораздо страшнее, просто апокалиптически страшнее был тот дух, что воцарился в городе и в сердце Стази с того самого дня, когда небесный крест воссиял и погас в июньском небе. Дух этот мог принять совершенно различные обличья; он то скребся мышью среди кулков, что упорно натаскивала Саввишна в свою каморку на кухне, и осторожный робкий шорох рвал душу сильней сигналов воздушной тревоги, завывавшей ночами. То он грозовым облаком вставал над пустынной, освободившейся от прогулочных катерков и лодок Невой, и тогда перехватывало дыхание, ломало в глазах от безжалостного предгрозового света, делавшего все вокруг безжизненным и величественным. Как-то в подобный момент они оказались на Стрелке вместе с Налымовой, и соседка, прищутив свои калмыцкие глаза, сухо рассмеялась.

– Надо заметить, моя милая, что город, в котором нам с тобой выпало жить, краше всего, когда пуст.

– В каком смысле, Марина Михайловна?

– А в таком, что люди этому городу не нужны. Они только мешают, портят изумительные виды и перспективы. Зима, лед, смерть – вот лучший фон, уж поверь мне – и как архитектору, и как человеку, пережившему здесь двадцатые. Помнишь рисунки Остроумовой, лопухи вот тут, у Ростральных? Это тебе не Париж, милочка.

И Стази вынуждена была согласиться, особенно припомнив магию воздушной пустоты, обольщавшей любого, кому посчастливилось видеть эти улицы и панорамы в предутренние часы свободными от людей и машин.

Дух метался, прорываясь ядовитыми языками то в шпиономании, то в ярме трудовой повинности, то в реве эвакуируемых с Московского вокзала малышей, – но это было не так страшно, ибо реально и объяснимо. А вот ощущения слепоты от мешков с песком в витринах и укрытых памятников было гораздо хуже. К слепоте вскоре присоединилась и глухота: отключили телефоны. Стази звонила теперь из той школы на Кадетской, где проходили занятия от военкомата, благо очаровать дежурного у аппарата ей было несложно.

Но самыми страшными были ночи. Одинокие ночи с позвякиванием стекла в серванте. Но если раньше этому было вполне разумное объяснение: проезжали машины, да и остановка трамвая была как раз возле их углового дома, то теперь старинный хрусталь начинал свой дьявольский перезвон на пустом месте. И от этого становилось жутко. Теперь Стази уже нисколько не сомневалась, что ее город ждет что-то невероятно ужасное, чему нет еще даже ни понятий, ни слов, что будет сравнимо, вероятно, лишь с библейскими ужасами, с детства запечатлевшимися в иллюстрациях Доре. И ее импульсивное решение помочь родине так, как выбрала она в тот памятный день, теперь казалось Стази трусостью, попыткой избежать общей с городом судьбы. Увы, она знала, что обратно дороги нет, что из военной разведки не выпускают. И ничто не поможет ей остаться здесь – ни ум, ни красота, ни связи. У нее возникали дикие мысли пробраться в Смольный и броситься в ноги Кузнецову¹⁷, но гордость брала верх, а просить оставить ее тут, в штабе, было и вообще унижительно.

Не приходило вестей и от брата, Андрея. Разумеется, их нечего было и ждать, от Хайданова Стази знала о сумятице войны больше, чем рядовые обыватели, но тягучая тоска все равно дремала в душе. Хорошо еще, мама с ее удивительной практичностью сумела позвонить откуда-то из-под Бухары, пока не отключили телефоны. Стази была одна и внутренне предоставлена лишь самой себе – состояние, о котором она всегда мечтала. Да и воздух войны стал намного чище, чем прежде. О, если б не город, если б только не ужас его грядущего... И каждое утро после бессонной ночи, придававшей лицу какое-то страстное и гордое выражение, Стази шла очень ранней и поэтому почти пустой Пушкарской к мосту, по дороге стараясь запомнить и попрощаться с каждым домом, магазином и деревом.

Десятого июля она, в своих щегольских сапожках и пригнанной идеально по фигуре форме – кропотливой работе безотказной Саввишны, – ждала Хайданова внизу у ресторана «Астория». Мимо спешили празднично одетые люди – театральный сезон в связи с войной затянулся, снова открылся Кировский с «Иваном Сусаниным», филармония, МАЛЕГОТ¹⁸. Пеструю толпу мрачно разрезали патрули госбезопасности, и, приглядевшись, можно было заметить, что и в пестрой толпе люди бросают друг на друга подозрительные взгляды. Шпиономания закончилась, но только что запретили фотографирование. Хайданова она увидела сразу от угла Невского и с удивлением увидела, что он не в форме НКВД, а во вполне приличном шевиоте, вывезенном не столь давно из «Суоми-красавицы». Впрочем, теперь в «Астории» разрешалось появляться и в форме. Стази быстро оглядела себя и усмехнулась: форма сидела ничем не хуже, чем платье из «Смерти мужьям»¹⁹.

Она подошла неслышно и легко пробежала пальцами по кобуре.

Невеселое солнышко осени

¹⁷ Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950) – в 1941 г. – второй секретарь Ленинградского обкома и горкома партии.

¹⁸ Ленинградский академический малый оперный театр.

¹⁹ «Смерть мужьям» – неофициальное название трикотажного ателье объединения «Лентрикотажпром» № 1, Невский пр., 12. Ателье было символом роскоши, и цены, естественно, кусались. Разорительные для мужей и любовников желания их спутниц одеваться по ценам, превышающим всякие финансовые возможности, породили фольклорное название знаменитого ателье: «Смерть мужьям, тюрьма любовникам». Здесь шили наряды Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Алла Тарасова. Очередь сюда занимали с вечера, а заказать можно было не более двух вещей.

Зажигает огни на штыках²⁰.

– Так?

Некрасивое, но ярко-мужское лицо Хайданова радостно вспыхнуло. Стази нравилось, что этот человек из глухой вятской деревни сделал себя сам – причем и не по старым дворянским лекалам, и не по образцам новой рабоче-крестьянской эпохи. Он был своеобразен, тверд и умен. И никогда, даже про себя, не могла Стази назвать его ни красным командиром, ни комиссаром, ни комсомольцем, хотя он был и тем, и тем, и тем...

Они выбрали столик в самом углу под пальмой и под вечного Эдди Рознера²¹ с его тоскливой и тягучей «Встретимся снова во Львове» заказали котлеты по-киевски, мороженое и шампанское. Выбор был дикий, но по военным временам правильный.

Николай ел с наслаждением, Стази вертела ложечкой в тяжелой литой креманке.

– Что молчим? – наконец улыбнулась она, дав ему утолить первый голод.

– Контрудары всеми силами в соответствии с предвоенными планами! Каково? – Но он не стукнул кулаком по столу, как полагалось бы в подобном случае, а мягко пробежался ногтями по бокалу и под перезвон тихо добавил: – Да только силы разрозненны, а фронты дезорганизованы. Вот и молчу, Славушка. Куда ты – уже ведомо?

– Разве это не военная тайна? Не знаю, конечно. Знаю только, что завтра.

– Знать хочешь?

– Разумеется.

– Ваш набор едет практически на курорт.

Курорты были лишь на двух направлениях: северном, сестрорецком, и южном, лужском. О финнах давно не думали.

– В Лугу?

– Хорошо мыслишь. Я рад, там спокойно будет. Немцы идут по Прибалтике и Новгородчине... Встанете где-нибудь у Фан дер Флитов. – Он рассмеялся, и Стази тоже улыбнулась в ответ.

– Господи, Николай, как я люблю твою непредсказуемость! Ну ты-то откуда знаешь Фан дер Флитов, не говоря уже о том, куда я отправлюсь?

– Служба, Славушка, служба.

И, уже гася свои темно-синие, как в сказках, глаза, он просто и веско накрыл ладонью ее незагоревшую этим летом руку.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

*Выписка из матрикула Новинской С. М. за 1938–1941 учебные годы
(ЛГУ, филологический ф-т., немецкое отделение, 3 группа):*

Психология – хорошо

Педагогика – хорошо

Ленинизм – удовлетворительно

Языкознание – удовлетворительно

Античная литература – хорошо

Западноевропейская литература:

²⁰ Строчка из популярной в Зимнюю войну пропагандистской песни 1939 г., посвящённой событиям советско-финской войны 1939–1940 гг. Музыка братьев Покрасс, слова А. Д'Актиля.

²¹ Эдди Рознер (Адольф Эдуард Рознер, Адольф Игнатьевич Рознер, Эдди Игнацы Рознер, Eddie Rosner; 1910–1976) – джазовый трубач, скрипач, дирижер, композитор и аранжировщик.

Средневековая – очень хорошо
Новая – очень хорошо
Новейшая – очень хорошо
Немецкая литература эпохи феодализма – очень хорошо
Немецкая литература эпохи империализма – очень хорошо
Немецкая литература эпохи пролетарской революции – очень хорошо
История народов СССР – удовлетворительно
Методика языка – очень хорошо
Русская литература XIX века – хорошо
Современный немецкий язык – очень хорошо

Поэтика – удовлетворительно
Теория литературы – хорошо
История немецкого языка – хорошо
Диамат и истмат – удовлетворительно
История ВКП(б) – удовлетворительно
Немецкий фольклор – очень хорошо
История философии – хорошо
Физкультура – удовлетворительно
Всеобщая история – удовлетворительно
Политэкономия – хорошо
Педагогическая практика – очень хорошо

Курсовая работа «Женщина в творчестве Фр. Мёрике» – отлично

30 июня 1941 года

Из-под литовских Утян до Эбенроде было не так уж далеко, да и охрана со злых и недоверчивых флаовцев²² сменилась на упоенных первыми победами немцев. Пейзаж за окном почти не переменялся, тот же песок, тихо, пыльно, плоско, туманно. Война оставалась далеко, колеса стучали ровно и умиротворенно, как в детстве. Проваливаясь в короткий сон, Трухин просыпался с ощущениями далекого детства. То ему казалось, что они с отцом лихо катят в новой коляске по Губернаторскому спуску, и радость от того, что его не отдадут в огромное, казенное, отвратительно желтое здание Первой гимназии, переполняет душу восторгом. Бывший губернаторский дворец, справедливостью императора Николая Павловича отданный костромским гимназистам, внушал Феде уныние, почему-то связанное со словом «фельдфебельство». То ли дело их родная, Вторая, деревянная, тепло-кирпичного цвета... Да и от дома всего два шага, поворачиваешь за угол – и уже перед глазами полукруглая башня в три окна, ажурный балкон на втором этаже, вечный и незабываемый запах Дома. Трухин усмехнулся неожиданно пришедшей в голову мысли: а ведь окажись он в Первой, то, скорее всего, и жизнь его сложилась бы по-другому. В Первой, как ни парадоксально, после пятого года верховодили большевики, а у них, во Второй, уклон пошел в сторону эсерства... Впрочем, и эсерство развело их по разные стороны не хуже большевизма. Перед глазами, как в цветном фонаре, промелькнула фотография Кузина на Ильинке, где стояли они с Кокой Барыковым, оба с жадными и счастливыми молодыми лицами, в лихо заломленных папах, с волочащимися саблями. Кока совсем еще мальчишка, без усов, а сам он запасным ком-взвода, уже с тоненькой морщинкой у рта... А вот теперь он пленный с неизвестной судьбой, а Кока в Питере, наверное, лихорадочно придумывает новые и новые конструкции танков. Последний раз он был в гостях у Коки после финской, когда Кока получил квартиру в привилегированном доме на Лесном. Дом и дух его не понравились тогда Трухину, но он не мог не отдать должного Вере, умевшей поставить жизнь на жесткий дворянский лад в любое время и в любых условиях. Что ж, дочь бессменного предводителя дворянства – куда это денешь? У Девочкиных всегда был ледяной дом, в отличие от трухинского, теплого, хлебосольного, безотказного... Господи, о чем он думает – и зачем помнит все это?

Поезд чуть притормозил, поскрипывая и посвистывая, этими звуками унося Трухина в мартовские страстные недели, когда гимназистов распускали по домам, и он целыми днями пропадал на Фроловой горе, катаясь напоследок всласть на лыжах. Свистел ветер в ушах, когда лыжи летели с горы сквозь красный весенний вечер, снег мешался с черными пятнами проталин, впереди ждал шероховатый лед Волги, а за ним полукругом раскинувшийся город.

От заката сады, бульвары, дома погружены в нежный розово-лиловый свет, а над ними в алых облаках победно сверкают купола. От них не оторвать глаз, они наполняют душу неземной радостью веры и близкой Пасхи. Вот на высоком обрыве древняя колокольня Успенского собора, правее, на Богословке – розовая колокольня Иоанна Богослова, в самом центре блещет Покров, расцветает причудливым цветком Вознесенье-на-Дебре, горит на Русиной улице белокаменный Илья-пророк... а слева на полыхающем закате чернеет силуэт могучей твердыни Ипатьевского монастыря. Тверда вера Костромы, она полна небесных заступников, что ей хляби и смуты столиц...

И счастливая улыбка против воли явилась на губах Трухина, все еще сохранивших мальчишеские нежные очертанья.

Колеса стучали, пески за окном сменились сосновыми борами. И снова Трухину чудилось, что он едет на любимой своей Машке, оставшейся от убитого брата, по неубранному

²² Бойцы вооруженного литовского подполья, ФЛА.

из-за мобилизации паникарповским полям, а вдаль, ныряя во ржи, мелькает пегая голова Астронома. Все вокруг открыто, широко, привольно. Впереди слева порой взблескивает на просторе речонка Паникарповка. Она петляет, лукавит, описывает по лугам почти правильные полукольца, бросается то на запад, то на восток. На полях за нею уже рождаются седые туманы, скрипят коростели, а еще дальше загораются огоньки фабрики. Высокий берег опущен бором, откуда тянет луговой сыростью, смешанной со свежестью, медом, смолой, молодостью и любовью. Он ни о чем не думает – и думает сразу обо всем, как бывает в юности, и упоение жизнью переполняет его, несмотря на войну. Сладкое ощущение своего молодого здорового тела, вера в себя и свою звезду, любовь к родителям, родине и Богу уносят душу в такие заоблачные выси, что из груди неудержимо рвется веселый и торжествующий крик... Мог ли он и думать тогда о плене?

Впрочем, о плене как раз они говорили, и говорили немало. Плен был тяжким несчастьем, горем родных, но на нем никогда не лежала ни печать позора, ни, тем более, предательства. А оба эти чувства Трухин уже хорошо прочувствовал на себе даже в Утянах. Даже немецкие штабные смотрели на него с неким презрением и превосходством, не говоря уже о литовцах. Смешно. Застрелиться можно, будучи в положении Самсонова²³, но взятому в бою? Ни формальный кодекс, ни внутреннее ощущение никогда не требовали подобного от русского офицера. И снова Трухин резко одернул себя. О каком русском офицере он думает?

Пока есть время, надо взять себя в руки. Не психологически, конечно, в этом смысле он всегда отличался завидной выдержкой – да и годы, прожитые при советской власти, научат кого и чему угодно. Надо просто подумать. На первом допросе он, как положено, назвал имя, звание, должность, цель поездки, рассказал биографию, не скрывая отношения к существующей власти, на что никто вообще не обратил никакого внимания. Гораздо больше немцев заинтересовала его уверенность в их скорой победе над Красной армией. Но ведь и это, в сущности, только лирика. Заинтересуй он их серьезней, то ехать бы ему сейчас не в Восточную Пруссию, а в штаб «Севера», куда стягивается вся самая значительная информация и где решаются судьбы сражений.

А поезд уже шел окраинами Шталлупёнена. Кажется, Тухачевский когда-то и что-то говорил ему об этом лагере, существовавшем еще в Первую мировую. Немцы – консерваторы, менять ничего не любят, Kriegsgefangenlager и всё тут, апелли, кригсброты, что там еще нынче придумают? Их право, не поспоришь: Wehlros – ehrlos²⁴.

В купе вошел Штрикфельд, деликатно не беспокоивший всю дорогу.

– Как настроение, Федор Иванович?

– Ну сами подумайте, какое может быть настроение, Вильфрид Карлович, у военнопленного?

– Не все так плохо, далеко не все! Поверьте мне. У вас все чисто, все ясно, претензий к вам никаких в отличие от многих.

– А к другим – какие же претензии?

Однако Штрикфельд сделал вид, что не расслышал вопроса, сел, приказал принести кофе и понимающе улыбнулся.

– У меня, подчеркиваю, исключительно у меня, личный так сказать, интерес, как у человека, курирующего русские вопросы... так вот, у меня один вопрос. Не хотите – не отвечайте, Бог с вами, вы офицер, дело ваше...

– Такая преамбула заставляет меня насторожиться, право.

²³ Самсонов А. В. (1859–1914) – русский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии, застрелился после поражения своей армии в сражении при Танненберге.

²⁴ Лагерь для военнопленных... проверка... суррогатный хлеб... «Безоружный – бесчестен» (старинная рыцарская поговорка) (нем.).

– Как известно, седьмого декабря тысяча девятьсот тридцатого года Советы арестовали Штромбаха, а спустя три дня Ольдерогге.

– К несчастью, я знаю. И что дальше?

– Но чего вы точно не знаете, милый Федор Иванович, так это то, что через пару-тройку месяцев Ярослав Антонович письменно признался... – Штрикфельд прикрыл сразу вдруг ставшие усталыми глаза и прочел, как по писаному. – «Приняв 44-ю дивизию, я стал интересовать, кто из начальствующего состава мог бы принять участие в нашей контрреволюционной организации...»

– Послушайте, вы не хуже меня знаете, как выбивались подобные показания, это несерьезно.

– Разумеется, разумеется, но вы послушайте дальше и разумно согласитесь со мной, что такое не выбивалось, такое уж вполне искренне говорилось. Так вот далее: «сменив трех начальников штабов, я нашел Трухина, так как он по своему социальному положению и по своим антисоветским настроениям мог быть вполне приемлем как член организации...»

На секунды купе качнулось перед глазами Трухина, а тихий голос все продолжал:

– «...Трухин дал согласие принять участие». Это правда, Федор Иванович? Хотя повторюсь, можете и не отвечать, меня на самом деле совсем иное интересует...

– Да понимаю я, что вас интересует, всё то же вас интересует: как же я сухим из воды вышел? Провокатор ли я был тогда и внедренный ли агент сегодня. Угадал, Вильфрид Карлович? Так я отвечу: взглядов своих я никогда не скрывал, ни тогда, ни сейчас, но в организации никакие согласия вступать не давал. Хотя бы потому, что это глупо... да и мерзило мне, в гимназии эсерства и заговоров наелся. Штромбах – простолюдин, чех, что ему русская кровь. А я, простите, этой крови еще в девятнадцатом насмотрелся, когда брат возглавил крестьянское восстание у нас на Костромщине...

– Это не ответ, Федор Иванович.

– Иного нет.

– А Владимир Александрович? Дворянин, генштабист...

– У вас и его показания есть?

– Лгать не буду – нет. Только как же получается, что двух ваших знакомых расстреляют в Харькове, а вы преспокойно отправляетесь себе с повышением в Саратов?

– Вот именно – в Саратов. Не в Москву и не в Ленинград, хотя у меня, поверьте, были все основания ждать куда более высокого назначения. ПриВО – экая ценность, «в деревню к тетке, в глушь, в Саратов».

– Покровитель?

– Вы все про свое. Неужели не понимаете: если б и знал – не сказал, кто ж благодетелей, которым жизнью обязан, выдает? Помилуйте.

Штрикфельд намеренно отвернулся к окну.

Удар был под дых, лучше бы этого не знать. И по прихотливой игре памяти Трухин второй раз за этот день вспомнил Коку, так и не отказавшегося от своего эсерства, с женой-дворянкой, не скрывавшей своего презрения к властям, усыновившего племянника, чьего отца расстреляли как троцкиста... И ничего ведь, наоборот, отправили директором военного завода – и не куда-нибудь в Саратов, а напрямую в колыбель революции...

Поезд уже замедлял ход у вылощенного перрона.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из архитектурно-ландшафтного описания усадьбы Паникарново

Для строительства усадьбы был выбран участок на берегу реки Паникарповки, вблизи того места, где ее пересекает проезжая дорога. Здесь верхнюю террасу берега прорезали два небольших оврага, пространство между которыми занял усадебный комплекс. Дом выстроен в верховье одного оврага и был вытянут по линии запад – восток. Парк размещался со стороны северного фасада, и его территория была окружена широким (5 метров) и высоким (2 метра) валом, обрамленным с обеих сторон канавами – прием известный в паркостроении под названием «ах-ах», но применявшийся в России только в 18 веке. По обваловке высажены насаждения (липа и акация), усиливавшие ощущение замкнутости и воспрепятствовавшие появлению посторонних. Впоследствии ограду дополнили березами, елями и сиренью.

В планировке внутреннего пространства есть любопытная особенность, выделяющая Паникарпово из ряда типовых: парк имеет две композиционные оси, наложенные одна на другую, живущие самостоятельной жизнью. Территория парка, рассеченная главной аллеей (ширина 1 сажень), была рассечена и поперек, по линии запад – восток. Северо-запад и юго-восток парка оформлены во французском регулярном стиле, северо-восток и юго-запад – в английской свободной планировке.

Рядовые и аллеиные посадки создают эффект разделительных кулис, организующих «кабинеты», площадки для игр, парковые павильоны.

В состав усадьбы входит и проработанный склон к реке Паникарповке, обеспечивающий визуальную связь парка с долиной. Окружающий пейзаж парка, не входивший в жесткие границы парка, имел перспективы использования только как объект для наблюдений, так называемый «пейзаж взаймы».

Кроме того, в усадьбе существует каменная двухэтажная церковь с колокольней, построенная взамен пришедшей в ветхость деревянной церкви Покрова Богородицы, существовавшей с 17 века. Новая церковь являла собой интереснейший пример крупного приходского храма в стиле классицизма с использованием отдельных элементов барокко.

Создатель парка, таким образом, сумел удачно совместить на ограниченной территории и скомпоновать в единый ансамбль плановую и пейзажную планировку, что делает усадьбу абсолютно индивидуальным, эксклюзивным образцом усадебного комплекса.

10 июля 1941 года

Они шли оживленными теперь и днем и ночью Красными Зорями²⁵, свернули у Железного рынка²⁶. Впереди тремя громадами мрачнели бани, подстанция и доходный дом.

– А раньше я так любила поглядеть на купол²⁷, – вздохнула Стази. – Бывало, только подходишь к дому рано утром, готовясь у кого-нибудь к экзамену ночь напролет, а купол так и сверкнет. Радостно. Кому мешала-то?

– Между прочим, было мнение не сносить именно этот храм, поскольку в нем венчалась Ксения Блаженная. Однако посчитали, что достаточно одного на Смоленке.

Лиловый дом встретил их чистыми, незаклеенными окнами, ибо военный инженер, живший на третьем этаже, каким-то образом сумел убедить домоуправа, что все эти полоски крест-накрест – бред сивой кобылы и ни от какой взрывной волны не спасут. Точно так же он уверил обитателей, что бегать в бомбоубежище в соседнем доме бессмысленно, ибо от прямого попадания ничего не спасет, а возможность поражения осколками ничтожна. И старый дом жил своей прежней, так отличавшейся теперь от быта других домов жизнью.

Хайданов по традиции сунул разбуженному дворнику двадцать копеек, и они поднялись по черной лестнице, припахивавшей помоями и кошками. Две огромные Стазины комнаты встретили их сероватым светом летней ночи без теней, и они оба замерли на какое-то мгновение у окна бесплотными, словно несуществующими призраками.

– Ты успеешь собраться? – одними губами спросил Николай.

– Давно собралась.

Тогда он поставил прямо на широкий подоконник бутылку красного «Абрау», а Стази достала из буфета половинку черного хлеба. Разумеется, не так хотелось бы ей провести эту последнюю ночь в Ленинграде, но, с другой стороны, было нечто библейское в этом скупом и откровенном сближении двух людей. И Хайданов, прекрасно понимавший, что она его не любит, что просто ему выпала счастливая карта оказаться в нужное время в нужном месте, что всему причиной только война, никак не выдавал своего нетерпения. И молча, сурово и спокойно глотал теплое вино, откусывал и медленно жевал подсохший хлеб, глядя не на Стази, а куда-то вправо, где над Петропавловской крепостью тускло светило неугасимое летнее солнце.

– Ты прости меня, девочка моя, – наконец вымолвил он, уже смыкая руки на ее гибкой поясице. – Прости за эту нелепую ночь.

– Надо бы ответить: Бог простит, Коля, а я отвечу, увы, война все спишет.

И июльское солнце все-таки погасло для них.

Через пару часов, которые жаль было отдавать сну, они поднялись и, закутанные в одну простыню, снова сели на подоконник. По Ленина промаршировала не в ногу колонна демократической армии по обороне Ленинграда, еще не получившей своего исконного названия ополченцев.

– Надеюсь, их отправят не на юг, а на перешеек, – закуривая, промолвил Хайданов, – там полно старичья, богемы, а барон²⁸, я думаю, особо зверствовать не станет. – Он неожи-

²⁵ Улица Красных Зорь (1918–1934) – первое «советское» название Каменноостровского проспекта, ставшего в 1934 г. Кировским, а в 1991 г. – вновь Каменноостровским.

²⁶ Несуществующий ныне рынок в начале Каменноостровского (напротив нынешнего «Ленфильма»). Также назывался Мальцевским (не путать с Мальцевским рынком на улице Некрасова).

²⁷ Имеется в виду купол церкви Святого апостола Матфия на Петроградской стороне, снесенной в 1938 г.

²⁸ Имеется в виду Карл Густав Эмиль Маннергейм (1867–1951) – барон, финский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант Русской императорской армии, генерал от кавалерии финляндской армии, фельдмаршал, маршал Финляндии, регент Королевства Финляндия; был известен своей лояльностью к России.

данно до боли сжал Стасины скулы своими железными пальцами. – Конечно, мне надо было, надо было добиться, чтобы и тебя туда же! Но у тебя нет финского, черт! И запомни, что я тебе скажу сейчас. Никогда и никуда без нужды не лезь. Обращать на себя внимание ни в каком смысле не нужно. Не показывай, что много знаешь, ссутулься, уйди в себя, стань серой мышью, исполняй приказы – и не более. Под пули не лезь, но и не прячься особо – живей останешься. О Ленинграде забудь... забудь, Славушка! И не возвращайся сюда, здесь будет плохо, они рвутся сюда и дорвутся, и за последствия никто уже не отвечает.

– Я знаю, – вырвалось у Стази.

– Знаешь?!

– Чувствую. Понимаешь, иногда я иду по улице и вдруг останавлиюсь и едва не вскрикну. Ад дышит мне в лицо. Это трудно объяснить, но это так! Я слишком люблю этот город, я родилась в нем, мои предки родились в нем, их души здесь всегда, и они не обманывают... и я не обманываюсь. Я не знаю, что будет со страной, с Советами, но мы... но нам... нам выпадет что-то особенное, что-то такое жуткое, Коленька... Береги себя. А еще напоследок скажи мне правду: ведь тех наших мальчишек, что послали лыжниками в Финляндию, убили впустую?

Хайданов бросил окуроч в пустую бутылку.

– Я тебе так отвечу. Знаешь ли ты, что парткомы всех институтов города были обязаны запретить своим студентам общаться и даже просто разговаривать с ранеными красноармейцами, находящимися на излечении в ленинградских госпиталях и выздоравливающими в госпитальных парках? Знаешь? Вот тебе и ответ.

– Я не знала о приказе, но помню, когда мы шли мимо сада Нечаевской больницы, то увидели там много раненых, кто без ноги, кто в лубках, и мы с девочками бросились к ним – просто сказать несколько слов, ласковых, сердечных слов нашей благодарности, сочувствия... Мальчишки выглядели такими грустными, такими... затравленными. И только мы прижались к решетке, заулыбались, протянули руки, как санитары с бранью стали орать на нас, и тут же патруль снаружи принялся отдиравать наши руки от прутьев. Это было унижительно, мерзко, но гораздо мерзостнее было сознание того, что нам, русским студенткам, запрещают разговаривать с русскими воинами только потому, что их, видишь ли, отправили на фронт одетых не по-зимнему, не подготовленными технически. Вдруг мы узнаем, как героически крошечный народ защищал свою маленькую страну!

Отвратительно завывла сирена из раструба, висевшего совсем рядом на углу.

– Ну, понеслись... валькирии, – выругался Хайданов, но, всмотревшись в совершенно светлое уже небо, махнул рукой. – Где-то над Фонтанкой, у Обуховской, не долетят, у нас есть еще четверть часа... И запомни еще вот что: я люблю тебя. И прекрасно обходился и обхожусь без взаимности. Даже теперь. Ты просто та настоящая жизнь, которой у меня нет. Да и мало у кого есть. И за эту жизнь я буду драться до последнего. А теперь почитай мне стихи.

– Конечно. Но не обижайся. – И, неприкрыто одеваясь, Стази медленно прочла, отчеканивая каждое слово:

Heiss mich nicht reddен, heiss mich schweigen,
Denn mein Geheimnis ist mir Pflicht,
Ich moechte dir mein ganzes Innre zeigen,
Allein das Schicksal will es nicht...²⁹

²⁹ Сдержись, я тайны не нарушу, Молчанье в долг мне вменено. Я б всю тебе открыла душу, Будь это роком суждено... Начало стихотворения И.-В. Гёте, перевод Б. Пастернака

Хайданов небрежно бросил пиджак на плечо и, встав в дверном проеме, не менее отчетливо произнес.

– Я не ожидал иного. И благодарю. Откровенность – за откровенность:

Ах, что за времена! Смятение и тревога!
Как в лихорадочном я пребываю сне.
Взбесились друг и враг. Отечество – в огне.
Все злее алчет Марс кровавого налога.

Но в эти дни терплю я от другого бога.
Не только Марс – Амур призвал меня к войне:
Моя возлюбленная изменила мне!
Проклятье двух богов! Нет, это слишком много!

Все отняла война. Но мы еще вернем
И дом, и золото со временем обратно.
И лишь возлюбленной утрата безвозвратна.

Когда б Амур ее зажег иным огнем,
Я свыкся бы с бедой, смирился бы с войною,
И все, что хочет, Марс пусть делает со мною!³⁰

– Прости! – оба возгласа прозвучали одновременно, и всю дорогу до Михайловского замка, где им предстояло разойтись в разные стороны, они не сказали больше ни слова. Стази старалась одновременно и запомнить город, и ничего не видеть, Хайданов же насвистывал какой-то легкомысленный мотивчик. И только у замка он остановился и достал из брючного кармана дамский «Рудольф».

– Только в самых крайних случаях. Поняла?

– Поняла. А тебе... Сам знаешь. Если смерти, то мгновенной и далее по тексту.

И Стази перекрестила Николая тем широким, истовым и в то же время раздумчивым крестом, каким вечно крестит русская женщина уходящего на войну мужчину.

³⁰ Стихотворение Юлиуса Цинкгрефа «Об измене возлюбленной во время войны», перевод Льва Гинзбурга.

20 июля 1941 года

Шталлупёнен, или, как называли его немцы, Эбенроде, оказался убогим провинциальным местечком, и привезенные туда офицеры выглядели не представителями могучей воюющей армии, а растерянным, подавленным и напуганным сбродом. Это было неприятно и обидно, и Трухин с ужасом вглядывался в небритые лица, опасаясь увидеть однокурсников по Академии или того хуже – слушателей. Но в лагере содержались по большей части младшие офицеры. Все были зажаты и на контакт практически не шли. Трухин отлично понимал их: взятые в пылу провальных боев, одуревшие ото лжи и беспомощности начальства, от царившего на фронтах хаоса, они не верили уже никому и ничему, а уж тем более человеку в чине генерал-майора.

К счастью, очень скоро пришлось отправиться в ставший известным даже за первый месяц войны международный офлаг XIII-B в нижней Франкии. Хмельная Бавария расстилалась вокруг холмами, и под стук колес Трухин не раз ловил себя на том, что насвистывает припев «Веселого Диделя»: «По Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной...» Городок сверкал чистотой, жители – отутюженными костюмами и национальными нарядами. После разоренной Костромщины казалось, что попал на съемки, в иной мир, чтобы не сказать – в сказку. От поезда шли пешком, и Трухин, своей высокой фигурой и генеральской формой неизбежно привлекавший внимание, с горечью видел откровенную ненависть сытых и опрятных людей.

Сам лагерь представлял собой крестообразный квартал добротных бараков, хотя очень скоро его пришлось расширять, строя уже деревянные помещения. Новые блоки тоже оказались вполне приличными, по три офицерские квартиры на здание. Впрочем, Трухин прибыл в лагерь, когда в нем еще почти никого не было, и его поселили в барак, впоследствии окрещенный генеральским. Потому как селили сюда только генерал-майоров. Немецкий пунктихкайт сказывался и здесь, что вызывало у обитателей барака искренний смех. Их собралось здесь пятеро: губастый и высоколобый командир стрелкового корпуса Евгений Егоров, командир и Краснознаменной, и всяческих орденов, и даже имени Сталина дивизии Ефим Зыбин, начальник Либавского училища ПВО Иван Благовещенский³¹, сельский учитель с виду и командир стрелкового корпуса казак Закутный³².

Унижение жгло всех пятерых, но причина его для всех оказывалась разной. Пожалуй, упоминать имя Сталина столь часто Трухину не приходилось никогда, даже когда он преподавал в Академии. Здесь же слова «Гитлер» и «Сталин» так и летали по бараку, рикошета, раня, язвя, вызывая то ненависть, то недоумение.

– Да послушайте, товарищи или господа, мне это решительно все равно, а весь ужас дела заключается в том, что я не имел связи с командованием армии уже через полтора часа после начала боя! – горячился, будто признавался в этом первый раз, порывистый Егоров и нещадно, до синяков сжимал виски. – Через полтора часа! Это что такое? Как это назвать? А еще через пару часов – войск нет! Оба корпусных арtpолка как корова языком! У меня под рукой дай бог полк один. И что прикажете делать?

– Отходить на восток и закрепляться по высоким берегам водных преград, как учит тактика, – усмехнулся Трухин.

³¹ Благовещенский И. А. (1893–1946) – генералмайор береговой службы, участник «власовского» движения.

³² Закутный Д. Е. (1897–1946) – генералмайор, деятель «власовского» движения, начальник Гражданского управления Комитета освобождения народов России.

– Я академий не кончал, Федор Иванович, но так и делал. А тут обстрел, паника. И вот лежу весь в кровище, и лампасов моих генеральских не видно. Только танкистик ихний все ж увидел, сука... Да что я, но как армия за день могла растаять?!

– Ты это у немцев спроси. – Закутный, который, несмотря на свое генеральство, постоянно что-то чинил, шил и латал, не колебался в причинах и, не стесняясь никого, крыл вождя по матушке.

– Но ведь это ничего, ничего, Федор Иванович? – Спокойствие и молчаливость Трухина сильно влекли к себе людей, а таких мятущихся, как Егоров, в особенности. – Я ведь им на допросе первом так и сказал, когда они резервами поинтересовались, что, мол, у нас в резервах, считай, все военные округа Центральной части, а ведь есть еще Урал, Сибирь есть, Кавказ, Средняя Азия и Дальний Восток!

– Что же толку в этих ресурсах, когда все равно все прогнило? Несвобода, неустройство, приспособленчество, тотальный контроль – где в этом может вырасти гражданин? А где без настоящего гражданина настоящая армия? – Зыбин тер свою бритую голову, словно в раздумье, но волевой рот и тяжелый подбородок ясно говорили, что для него нет сомнений. – Если я каждый день дрожу над своей личной безопасностью, не говоря уже о жизни близких и друзей, то какой я солдат, какой полководец?

– Плохой, – опять улыбнулся Трухин. – Но если сейчас вы все-таки это осмысливаете и понимаете, то надежда есть.

– Надежда? Где? Они, говорят, уже у Питера стоят!

– Вы верите в полную немецкую оккупацию России, Дмитрий Ефимович?

– Вряд ли, вряд ли, кишка тонка.

– А в использование врага внешнего для устранения врага внутреннего верите?

– Послушайте, Федор Иванович, – вмешался сухой и благообразный, не скрывавший своего происхождения «из духовных» Благовещенский. – Все это уже было. Однако никто не признает Курбского спасителем отечества. И сейчас, в первую очередь, мы должны забыть, что мы генералы, колхозники, инженеры, стахановцы, комсомольцы, то есть люди уравненные единым бесправием. Мы должны осознать себя просто нормальными людьми и ответить на простой, но очень мучительный вопрос: почему же все это произошло? Кто в этом виноват? Мы или власть?

– Не лукавь, Алексеич, – буркнул из-за голенища чинимого сапога Закутный. – Та власть – это и есть мы, мы для нее все сделали и делали. Непонятно только с какого перепугу и дури.

– Ну, когда пригрозят жену с малолетками-детишками и мать-старуху...

Трухин прикрыл глаза и снова с болезненной ясностью, какая бывает в бреду, увидел, как под тягучий, истошный, непереносимый вой старух падает с Шаховской церкви медный колокол... падает, сверкая на августовском солнце, заваливаясь влево к кладбищу... падает апокалиптической птицей смерти... А в ушах звучал яростный шепоток стоявших вокруг мужиков, их, трухинских мужиков, ничуть не изменившихся за минувшие двадцать лет.

– Советская-то власть не умеет воевать, да и воевать-то никто не пойдет...

– А и война скоро, советскую власть все равно сшибут, и все колхозы нарушатся...

– А вот раньше спихнули царя, так и краснопузых так спихнем...

– Война будет, дак иностранцы нам помогут...

Ох, не зря брат Иван так верил им и в них, поднимая в восемнадцатом году восстание против большевиков, и не зря Кузьма и Георгий прятали его столько лет... Иван метался по Белореченску, а он, Федор, сидел в это время конторщиком на Виндавской железной дороге. Что мешало ему уйти от мобилизации в те же леса? Вера в тот самый народ? Да, двадцатидвухлетнему костромскому дворянину легко уверовать в народ, в то, что свершаемое свершается ради него... Сколько их поверило и пропало. На мгновение снова мелькнул Кока

Барыков с его словами о том, что здесь, в провинции, мы не комиссары в кожаных куртках с наганами, как в столицах, а братья Мооры в плащах... О, будь проклят юношеский максимализм, высокие дворянские идеалы!

– Ну признаем, признаем, что мы виноваты, – снова закипятился Егоров. – И это неизбежно будет означать, что раз виноваты, то надо вину свою искупать! Как только?

– Новую Россию строить.

– Вы хотите сказать – восстанавливать старую? Да позвольте, все под корень выкорчевано, и крестьянин не тот...

А за окнами заливались последние птицы, тянуло хмелем с крошечных пивных заводов, во множестве разбросанных по округе, и все это еще острее подчеркивало тоску и нежелание больше участвовать в нелепом спектакле под названием жизнь. Чтобы продолжить участие, надо было сделать какой-то шаг, совершить некий поступок, который перечеркнет все бывшее, все заблуждения, ошибки и неудачи, нужен катарсис, а лучше – крестный путь, Голгофа. Но та Голгофа, что принесет его родине хоть крупицу пользы...

И тогда Трухин поднялся и своим неторопливым, широким, почти ленивым шагом подошел к окну. Закатное солнце делало предметы неестественно четкими, почти обведенными черными контурами.

– Знаете, господа, – он произнес это «господа» не нарочно, скорей по давней неизжитой привычке, – я вам вот что скажу. Если человек замурован в могильном склепе и начинает задыхаться от недостатка кислорода, то, услышав, что кто-то ломает стенку склепа, он бросится к дыре, чтобы вдохнуть свежего воздуха, не спрашивая, кто именно сломал стену, благородные спасатели или же грабители могил.

АРХИВНАЯ СПРАВКА РГВИА

«Трухин Федор Иванович, 1896 года, беспартийный.

Уроженец гор. Костромы Ярославской области, русский, служащий.

Образование: Начальная школа, гимназия и 2 курса юридического факультета Моск. Университета, военное – школа прапорщиков в 1916 г., Академия Генштаба в 1938 г., Академия им. Фрунзе в 1925 г. В старой армии служил 2 года – прапорщик. Участник гражданской войны с 1919 по 1921 гг. Награжден Орденом „Красное знамя“ и юбилейной медалью „XX лет РККА“

В Красной Армии с 1919 г., в должностях:

Командир отделения – 11.1918–11.1919

Командир роты – 11.1919–7.1920

Командир батальона – 7.1920–10.1920

Командир полка – 10.1920–1.1921

Командир батальона – 1.1921–8.1921

Командир роты – 8.1921–9.1922

Слушатель военной академии – 9.1922–8.1925

Нач. штаба и вр. ком. полка – 8.1925–9.1926

Нач. штаба дивизии – 9.1926–1.1931

Нач. штаба корпуса – 1.1931–2.1932

Преподаватель и нач. кафедры Ак. им. Фрунзе – 2.1932–10.1936

Слушатель Академии Генштаба – 10.1936–10.1937

Ст. преподаватель Академии Генштаба – 10.1937 – 8.1940

Зам. нач. отд. УБП РККА – 8.1940–1.1941

Зам. нач. штаба округа – 1.1941–1941

Нач. оперотдела штаба фронта – 1941–6.1941

Зам. нач. штаба фронта – 1941–6.1941»

13 июля 1941 года

Место, где оказалась Стази, действительно было курортом, больше того – русской Швейцарией, как его называли, между прочим, даже в послереволюционных путеводителях.

Раскинувшаяся на берегу прелестного озера бывшая усадьба Фан дер Флитов была окружена с трех сторон сосновым бором. С юга их стройные стволы были оранжевыми и липкими от свежей смолы, с севера, где Ленинград, – седыми и замшелыми. Усадьба сбегала к озеру, но не добегала, остановленная болотцем с кочками, покрытым изумрудным мхом и кустами голубики, а на сухих местах – брусникой. А дальше за озером расстилались пепельно-зеленые холмы вереска, которые сейчас, в июле, курились сиренево-розовой дымкой.

Штаб полка, или, точнее, штабную службу, в которой оказалась и Стази, разместили в бывшем охотничьем домике – удачном сочетании вычурности и практичности. Стази было и приятно, и странно оказаться в месте, десятки раз виденном в детстве на старинных фотографиях: Флиты приходились троюродными ее матери и после исчезновения отца часто приглашали осиротевших родственников в свой маленький деревянный дом на Васильевском.

Правда, никаких удобств в охотничьем домике уже не осталось, и Стази только первые пару дней наслаждалась новым жильем, будто ожившим прошлым и природой. На третий стало мерзко от невозможности помыться, побыть одной, не спать под дикий храп, а щегольские сапожки оказались совершенно непригодны к полевой жизни и были заменены на грубую кирзу. Дела никакого не было, да и никакой хоть мало-мальски достоверной информации – тоже.

В эти длинные июльские вечера казалось, что застыли не только лужские боры; казалось, что и сама война затихла на какое-то время, и в этом затишье опять чувствовался некий ужас – чуть ослабленное подобие ужаса ленинградских улиц.

Стази, несмотря на теплый вечер, зябко куталась в выданную ей чужую немытую шинель, одновременно чувствуя и гадливость от запаха пота, грязи и, наверное, даже крови – и странное возбуждающее чувство, которое теперь часто охватывало ее среди этих потных, грубых, жестоких мужских толп. Это чувство проснулось в ней еще тогда, когда она добиралась сначала до Луги, а оттуда на телеге в сторону Плюссы. Было ясно, что дела плохи, и хуже того – непредсказуемо плохи, но все же пока еще находилось немало мужчин, особенно из майоров и полковников, что смотрели на нее с плохо скрываемым вожделением. Стази никогда не считала себя красивой – скорее, необычной и стильной, но эта обрушившаяся на нее похотливость заставила быстро выучиться видеть все словно через стеклянную стену. Вот и сейчас она смотрела из своего стеклянного кокона на лениво переругивавшихся штабных шоферов, копавшихся в «эмке» у бывшей молочни, и казалась себе не то спящей красавицей, очнувшейся в ином мире, не то бесполезной и злой на весь мир сучкой. Неожиданно из главного флигеля послышалась какая-то возня, мат, и на резное крыльцо выскочил ординарец начштаба с растерянным и даже испуганным лицом.

– Новинская, твою мать! Что расселась? Живо в машину!

Через минуту они уже мчались в сторону станции, и ногу Стази больно царапал планшет полкового комиссара.

– Что за спешка-то, товарищ комиссар? – не выдержала она.

– А вот ты нам сейчас и расскажешь, что за спешка, товарищ Новинская, – вздохнул вместо комиссара пожилой и какой-то уютно-домашний командир полка.

Но не успела Стази удивиться или даже испугаться, как «эмка», подняв облако пыли, затормозила у последнего перед Лугой полустанка. На перрончике стояли несколько растерянных солдат, а на путях – раскаленная даже на вид дрезина. В деревянном станционном

здании, однако, было полутемно и прохладно, а в углу единственной комнатки сидел на стуле невысокий и чем-то очень похожий на комполка немец. Что это немец, было ясно даже не по его форме, а по золотым очкам, набриолиненным волосам, а главное, по выражению превосходства в лице. У остальных же на лицах царили недоумение и тревога.

– Вот, видите ли, товарищ командир, – путаясь и сбиваясь, зачастил железнодорожник, – мы, значит, тут... я расписание проверял, а он, значит, как ни в чем не бывало... и не торопится, сволота, и песенку еще насвистывает. Как у себя дома, значит...

– Приступайте, – остановил его комполка и устало сел, махнув комиссару, а потом поглядев на Стази.

– Ваше звание, воинское подразделение, цели? – не очень уверенно начал комиссар.

Немец внимательно выслушал вопрос, переведенный Стази с ее вечной склонностью к швабскому диалекту. За это ей здорово доставалось от профессора Иконниковой, но здесь профессора не было, и говорилось в свое удовольствие.

– Hier liegt vermutlich ein Fehler vor³³, – вместо ответа удивился немец. – Da unsere Armee bereits am neunten Juli Pleskau eingenommen hat, ist allen klar, dass sie sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits in Luga befinden muessen³⁴.

– Что?! – Лицо комполка посерело, а Стази невольно ахнула: всем было известно, что немцы движутся на западе и востоке, а Лужский район относительно спокоен, и немцев тут никто не ждет. Правда, только вчера штабной адъютант с жаром уверял Стази, что, ежели что, по реке Луге пустят неслыханной силы ток, и никакой немец в жизни ее не форсирует. Но лейтенант был известный враль и балабол.

Впрочем, дальше немец вполне мирно назвал себя, свое майорское звание, сделал комплимент Стази и настойчиво требовал отправить его немедленно в Лугу к генералу Ландграфу.

Дальнейшее Стази старалась никогда не вспоминать, но, если воспоминанья и приходили к ней незваными гостями, то всегда представлялись в виде лесного пожара, от которого нет и не может быть спасенья.

На следующий день, если его можно было назвать днем в черноте и вони разрывов, она лежала под мостом у какой-то деревни, в которой не осталось даже домов, а рядом с ней, прикрывая ей рукой затылок, лежал смуглый даже сквозь гарь курсант какого-то военного училища из города. «Не из Ленинграда, казак, наверное, с Дона», – почему-то подумала Стази.

– Спокойно, спокойненько, – уже в сотый раз шептал он под вой и визг. – Все будет в ажуре.

Стази почти механически поправила, пытаясь не набрать в рот песка:

– Не надо употреблять слов, если не знаешь их значения. Ажур – это только способ ведения бухгалтерии.

– Оп-ля! А ты еще и умница! – И он еще сильнее вдавил Стазино лицо в песок. – Ничего, с такой умницей да не прорваться?! Брешешь! Прорвемся, сейчас они выдохнутся, и рванем вплавь. Ты плавать умеешь?

Но Стази понимала, что это только слова, что этому парню, такому красивому, молодому и сильному, тоже не хочется умирать, как и ей, и он пытается заговорить, заколдовать неминуемую смерть. Какое вплавь, когда река простреливается как на ладони? Уж лучше умереть на земле, а не мучительно захлебываться мутной водой... И, подыгрывая ему, Стази вывернула голову из-под его руки, озорно улыбнулась, зажмурилась.

– Поцелуй меня, казачок!

³³ Здесь, вероятно, какая-то ошибка.

³⁴ Всем известно, что, взяв девятого июля Плескау, наши войска должны находиться в Луге.

Этот вечный поцелуй среди ада навсегда обжег ее, потому что не прошло и секунды, как горячий рот вобрал в себя ее всю, тугое тело дернулось, и уже мертвые зубы в последней судороге прикусили ей нижнюю губу. И тогда Стази поняла, что чувствуемый ей ужас еще только начал приобретать свои зловещие формы. Потом загрохотало уже так, что мир потерял привычные очертания, и горячие струйки потекли Стази на грудь, тяжеля гимнастерку на груди. А потом стало совсем тихо.

Стази звериным чутьем знала, что надо лежать не шевелясь, что так немцы, может быть, пройдут мимо, если вообще пойдут под мост. Чего им здесь делать ради двоих мертвецов? Лицо ее стянуло чужой запекшейся кровью, и, когда приоткрыла один глаз, то с трудом увидела раскаленное безжалостное солнце в прозрачной вуали гари. «Никуда больше не пойду, ничего не хочу, ни родины, ни счастья, – равнодушно подумала вдруг она. – И никому я не нужна... как и мне никто. Бедный мальчик, – тяжело, как сквозь вату, подумала она о том, кто лежал на ней, безжизненный и, наверное, теперь святой. – Я так и не узнала, как его зовут. Жаль его, и Ленинград жаль... Только себя не жаль. Хоть бы умереть скорей, скорей...»

На секунду усмехнулось ей веселое и сердитое лицо брата, но оно говорило о жизни, а она хотела теперь только смерти. И решительным движением Стази высвободилась из-под мертвого курсанта и легла рядом, как с живым, обняв за плечи и прижавшись щекой к смуглому даже в смерти лицу...

Когда-то маленькая Стася искренне считала, что весь мир состоит из палевых абажуров, звящего серебра под ними, толстых книг в кожаных переплетах и детей, умеющих говорить по-немецки. Разумеется, в новгородской деревне все было по-другому, но на то она и была новгородской деревней. Мир существовал правильно и гармонично. Чуть подрастая, Стася, конечно, не могла не замечать, что, помимо мальчиков в бархатных штанишках и с такими же бантами, умеющих шаркнуть ножкой, и девочек в капорах и каракулевых шубках, крытых каким-нибудь малиновым или синим бархатом, существуют и другие дети. Ей встречались на улицах мальчики в сапогах и девочки в платочках, но они тоже проходили мимо мало живыми тенями. В песочниках Матвеевского сада, куда приводила ее Настя, последняя бдительно следила, чтобы Стася не копалась в песке с подобными детьми, и чуть что даже не стеснялась применить силу и вытащить ее прочь. И даже школа, куда ее после долгих споров отправили родители на год раньше положенного срока, сначала изменила немного. Правда, слушая из-за плохо затворенной двери споры родителей, Стася удивлялась: мягкая мама весьма жестко настаивала на том, что в школу ее надо отдать как можно позднее, когда будет уже невозможно переломить – или, как насмешливо произносила мама, «перековать» – сознание, а папа, наоборот, твердил, что, чем раньше, тем лучше, и что и так уж много в ней осталось дворянской дури, опасной и ненужной. Короче, споры были малопонятные и неинтересные.

В школе оказалось вполне весело. Их огромный класс в пятьдесят пять человек как-то быстро ощутил себя единым целым, и через пару месяцев они уже прорывали кордоны старшеклассников, бросаясь на несомые из столовой подносы с теплыми кусками бесплатного хлеба. Потом Стася каждый раз недоумевала, зачем она тоже бросается в эту кашу, хотя хлеба в доме было достаточно, но наутро азарт снова пересиливал разум, и она бросалась в бой, стремясь ухватить горбушку.

Школа была старинная, трехэтажная, отец говорил, что в ней даже учился какой-то поэт, но имя его Стасе ничего не говорило, а вот прелестный стеклянный эркер в классе, где проводили уроки про растения, ей очень нравился, позволяя воображать себя какой-нибудь принцессой в замке. Именно там ей и развязал рывком бант в волосах первый хулиган и двоечник класса Мишка Глотов. Удивительно, но это ей понравилось, и скоро Настя уже приводила ее в соседний дом, где в полуподвале ютилась Мишкина семья: большеглазая и

всегда словно испуганная мама, двое малышей и какая-то древняя бабка. Разумеется, Настя всегда надевала на Стасю в эти походы платице попроще да еще с холщовым передником и нарукавниками. Они играли с Мишкой в солдатики, которых у него была уйма, особенно красных конников, хотя присутствовали и молодцы в старинных мундирах, сходявшие всегда за белых. Мишка был рад, что Стася всегда с удовольствием, без упрасиваний, играет на стороне врагов и, не жалея, стягивает нарукавнички, делая из них полевые лазареты. Она же в свою очередь, с удивлением обнаружив, что Мишка хорошо соображает и ко всему жадно любопытен, стала носить ему из дома книжки, сначала тайком, а потом и с одобрения мамы. Правда, потом Настя зачем-то держала их над паром, а после возмущения папы порчей книг тайком проглаживала утюгом через бумажку.

Как-то Настя задержалась забрать ее, и Мишкина мама испуганно предложила ей пообедать с ними. Проголодавшаяся Стася согласилась, по привычке присев в ни к чему не обязывающем книксене и звонко поблагодарив на немецком. Мама разинула рот и уронила половник, а Мишка весь как-то подобрался и посмотрел на нее долгим взглядом, сузив волчьих красивые глаза. Тут-то и вышел конфуз. Во-первых, никакой скатерти не было, не говоря уже о салфетках, во-вторых, варево в железной миске выглядело и пахло отвратительно, убивая Стасю плавающими ключьями каких-то жил, и в-третьих, что было самым непереносимым, перед ней положили кривую, всю измызганную и щербатую алюминиевую ложку, которую было и в руку-то страшно взять, не то что ей есть. Стася со стыдом чувствовала, как ее сейчас вырвет, и, закрыв рот передником, выскочила из-за стола – к счастью, прямо в объятия пришедшей Настасьи.

Дома она честно рассказала все маме, на что та печально спросила:

– Но, Стася, если бы ты оказалась на войне, на поле боя, на привале – неужели ты не разделила бы с солдатами их трапезу?

Стася возмущенно тряхнула косами.

– Мамочка, так ведь это война!

– Так считай, что ты и сейчас на войне, – тихо произнесла мама и, заплакав, ушла в другую комнату.

Этот дурацкий случай изменил все. Теперь Стася приходила в школу и видела ужасную одежду большинства, грязные ногти, рваную обувь и порой даже гнид в волосах. Но все это можно было бы еще пережить, никогда в семье Новинских не встречали людей по одежке. Какими порой приходили папины бывшие однополчане! Но самое ужасное, что за этой внешней грязью и наплевательством таилась такая же внутренняя грязь. Дети травили стареньких учительниц, отчаянно ругались самыми скверными словами, плевали шелуху от семечек прямо в классах и не читали ничего, кроме бог весть откуда выкопанных нат пинкертонов образца тринадцатого года. Но самое удивительное, что опорой в этом безмолвном и тщательно скрываемом противопоставлении для Стаси стал все тот же Мишка. Он вдруг стал следить за собой, чистить чиненные-перечиненные ботинки, щеголять в штопаном пиджаке, причесываться и все более жадно глотать приносимые Стасей книжки. Более того, не менее жадно он расспрашивал ее про их жизнь, слушал внимательно, и польщенная Стася рассказывала с упоением уже даже не об их собственной жизни в коммунальной квартире, но о вычитанном из книг быте героев Толстого и Пушкина. И, рассказывая о первом бале Наташи Ростовской или Святках у Лариных, она ощущала себя девочкой, прожившей эту жизнь, и ей было немного грустно. Однако она гордилась той жизнью...

В тот год, когда исчез отец, мама старалась стать невидимой и неслышимой, быстро уехала в какую-то экспедицию на север, а Стасю отправила в новгородскую деревню. За день до отъезда они гуляли с Мишкой вдоль Петропавловской протоки, где песок под ивами был тверд и прохладен, и он горячо говорил ей, как будет ему без нее скучно. И Стася с недоумением понимала, что и ей будет тоскливо без широко расставленных острых глаз своего

внимательного слушателя. Поэтому тем же вечером, не спрося никого, пришла в подвал к Мишке и вежливо, но твердо попросила его мать отпустить его вместе с ними, соврав, что едет с мамой. Расчет был верен: испуганная женщина, конечно же, не пошла объясняться с мамой, и наутро они уже ехали с Мишкой в «пятьсот веселом», отходившем с Варшавского вокзала, пропитанного табаком, потом, дымом и навозом. Стася ехала по плацкарте, Мишка – зайцем.

Лето выдалось славное, настоящее, со звездными ночами, розовыми восходами и блаженной ленью полудней. По старой памяти Стасю не обременяли работой, и они с Мишкой целыми днями болтались по окрестностям, лазая по заброшенным усадьбам. Это было полное царство Стаси, она живописала Мишке минувшую жизнь, показывала пируэты давно исчезнувших танцев, изображая то знатную даму, то провинциальную девушку, щебетала на немецком и потихоньку учимом французском, отдавала приказания невидимым горничным и гладила невидимых собак. Мишка не сводил с нее глаз, от чего все получалось у Стаси еще лучше и возвышенней. И где-то в зале с проломленной крышей, в столбе пыли, светящемся золотом, они впервые поцеловались, и лето разгорелось вокруг них еще жарче и ярче.

И оно сделало им настоящий подарок, как и все вокруг в тот год, словно желая скрасить Стасе потерю отца. В один из своих походов они набрали на более или менее сохранившуюся усадьбу и обнаружили там почти сказочного старика в бархатной куртке, с трубкой и с вольтеровским креслом. Больше того, у него оказалась настоящая породистая собака, прекрасная сука крапчатого лаверака Гая с толстолапым щенком Греем. Старик пробивался ульем, крошечным огородом и остатками библиотеки. Гая сама промышляла в лесах. Стася просто влюбилась в этого старика, звавшегося Валерианом Николаевичем, и ревниво смотрела, чтобы и Мишка относился к нему столь же восторженно. А Валериан Николаевич часто клал руку ей на голову и говорил, глядя куда-то в закат:

– Ты девочка из прошлого. Тебя Бог мне послал.

И они снова пускались в вопросы и ответы о минувшей жизни, где было ценно все, от формы букетов на обойном кретоне до формы, в которой мог писаться картель. Мишка молча и прилежно сидел у Стасиных колен, как подобает рыцарю, и слушал, щуря глаза.

Лето катилось к концу, надо было уезжать, а Стася все откладывала прощание с Валерианом Николаевичем и продолжались бесконечные прогулки с Мишкой, означавшие сорванные поцелуи, дрожанье коленок и бьющееся уже где-то под ложечкой сердце. Девятнадцатого августа, как раз в Яблочный Спас, когда все вокруг благоухало плодами, Стася решила добраться до церкви, помнимой ей еще по раннему детству, и даже уговорила пойти Мишку. Они шли проселочной дорогой, словно нарисованной каким-нибудь передвижником, солнце палило нещадно, и Стася, ведомая памятью, скорее, ног, чем головы, свернула через поле в лесок, сокращавший им добрую тройку километров. Темный еловый лес гудел над головами мрачно и торжественно, мох пружинил под ногами, понемногу отходила опаленная солнцем голова, когда Стася вдруг насторожилась. Где-то далеко, еле слышно хрипло дышало какое-то существо. Она инстинктивно схватила Мишку за руку, и он уже повел ее обратно к свету, но звук повторился снова и уже явственней. Это был измученный стон. Стасе стало совсем страшно, но в памяти совершенно ни к селу ни к городу всплыли мамины слова о том, что она должна вести себя как на войне.

– Нет, мы должны найти, – сухими губами прошептала девочка и, вырвав руку, побежала на угасающий в чаще стон.

И то, что она увидела, навсегда убило прежнюю Стасю.

На крошечной елани, тщетно пытаясь приподняться, лежала Гая, прикрученная толстой веревкой за шею к суку. Обезумевшие глаза ее были выкачены и затянуты пеленой муки. Стася бросилась к ней, но сука даже не повернулась, не сводя глаз с какого-то пятна поблизости. Стася невольно проследила ее взгляд и закричала так, как кричит уже не человек, а

животное. В двух шагах от Гаи, расчетливо, чтобы она не могла дотянуться, висел трупик Грея с отрезанными четырьмя лапками и выколотыми глазами. Лапки валялись тут же в уже засохшей лужице крови.

Стася зажмурилась и упала рядом с Гаей, не зная зачем стараясь отвернуть собачью голову от висевшего тельца. Черное облако душило ее, не давая ни вздохнуть, ни крикнуть, ни заплакать. И только сухой язык собаки вернул ей ощущение действительности. Стася подняла глаза и увидела стоявшего рядом и усмехающегося Мишку.

– Что? Не нравится? – рассмеялся и поддал ногой крошечные лапки. – Мирово́ я тебе отомстил, а? – Стасе казалось, что голос его доходит до нее через вату, как во время свинки, и она все крепче прижималась к Гае. – Ты думаешь, я забыл твой немецкий и твою рвоту за столом? Фифа, недобитая дворянская сучка! Ух, как я вас всех ненавижу! Ваше чистоплюйство, ваши книжки, ваши цирлихи-манирлихи! Моя бы воля – всех бы вас под корень, как этого кутенка! А ты, дура, верила, что мне с тобой интересно? Да плевал я на тебя, тебя и выебать-то противно, я только все как следует хотел разузнать, чтобы сразу распознавать проклятую вашу породу! – Мишка кривлялся и приплясывал по елани, а сердце Гаи колотилось о ребра, раскалывая не только сознание Стаси, но и саму жизнь.

В городе она наотрез отказалась идти в прежнюю школу и стала ходить на Зверинскую. Никто, даже мама, не увидел в ней никаких перемен, кроме вытянувшейся фигурки и по-другому смотревших глаз, но отныне Стася жила действительно как на войне. Обида и ужас, поначалу мучившие ее, прошли со временем, но ненависть, глухая черная ненависть осталась, и она лелеяла ее, не давая ослабеть. Больше никакие доказательства и проявления низости окружавшего ее чужого мира не удивляли; она смотрела на них равнодушно, понимая, что подлости пределов нет. Так Стася, ставшая уже Стази, вполне безразлично перенесла пощечину от секретаря комитета комсомола в ответ на ее реплику о лакействе и бездарности Демьяна Бедного. И, может быть, еще более хладнокровно она отдалась уже университетскому жожаку, когда тот предложил ей нехитрый выбор – или это, или стучать на одноклассников. Равнодушие и ненависть давали силы, которые были нужны и которых не хватило бы нормальному человеку, оказавшемуся в сумасшедшем доме, коим стали ее город и ее страна. Стази знала, что все происходящее с ней – еще не самое худшее, что все это можно вытерпеть, ибо ненависть порой бывает гораздо сильнее любви. И она побеждала, и добивалась, и жила в своем царстве мертвых полнее и свободней, чем большинство ее окружения...

Наверное, она забылась, потому что, когда снова открыла глаза, то увидела, что светит уже не солнце, а луна, что уже светает, и что в этой предрассветной обморочной мгле явственно слышно чавканье приближающихся по песку шагов. Шло несколько человек, и шли чужие.

«Вот и всё», – не то с ужасом, не то с облегчением подумала Стази и еще крепче обняла мертвого курсанта...

Шаги приближались. Хохот, лающая немецкая речь.

Не открывая глаз, Стази приподнялась на локтях и выбросила в пространство отменную порцию витиеватой немецкой ругани.

Шаги замерли, речь смолкла, кто-то трижды хлопнул в ладоши.

– Noch ein Mal, bitte,³⁵ – произнес насмешливый голос, и Стази открыла глаза...

³⁵ Еще раз, пожалуйста (нем.).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из истории усадьбы Ильжо

Усадьба Ильжо расположена в южной части Лужского района, к западу от Динабургского шоссе (старый тракт Луга – Порхов) на берегу озера Ильженского.

Сельцо Ильжо упоминается еще в писцовых книгах Шелонской пятины, а с самого начала XVIII в. оно принадлежало фамилии Скобелыцыных. Тогда существовала небольшая усадьба с деревянным домом и фруктовым садом. В первой половине XIX в. Ильжо было продано по частям. Так образовались два имения – Среднее и Верхнее Ильжо. На учете Областной инспекции по охране памятников находится лишь усадьба в Среднем Ильжо, хотя на восточном берегу озера Ильженского в XIX в. образовалось несколько усадеб, пока не обследованных. Старинное сельцо Ильжо с господской усадьбой и деревнями Селище, Яконово и Клобутицы купила у наследников Скобелыцына вдова капитана 2-го ранга М. Н. Бизюкина, от нее имение перешло к сыновьям, но, не желая делиться, они в 1848 г. продали его М. А. Снарской, владевшей им 40 лет и создавшей новую усадьбу, сохранившуюся до наших дней. Мария Александровна деятельно занялась хозяйством имения и усадьбой. Старые усадебные постройки были отремонтированы, обновлены парк и сад, заведены молочня и птичник. После крестьянской реформы 1861 г. многие помещики переселяли крестьян подальше от усадеб, но Снарская поступила иначе и создала новую усадьбу, к югу от сельца. Поставленный на мысу деревянный обшитый тесом двухэтажный дом – типичный образец загородного дома в «русском стиле» конца 1860-х – начала 1870-х гг. Это было время поисков национального стиля. Автор усадебного дома пошел по рациональному пути, соединив определенную живописность внешнего облика с функциональной целесообразностью. Хозяйственных заведений в новой усадьбе не было, они остались в старой усадьбе, находившейся всего в 500 метрах от новой, предназначавшейся только для отдыха. Живописные окрестности Ильженского озера привлекли сюда художников. В 1872 г. здесь на лето снимали дачу И. Н. Крамской, К. А. Савицкий, И. И. Шишкин. Шишкин написал здесь картины «Полдень», «Пруд в старом парке», «Лесная глушь», за которую получил в 1873 г. звание профессора. После смерти Марии Александровны ее сыновья в 1887 г. продали имение с усадьбой баронессе В. С. Корф, урожденной Вревской. Через три года она перепродала поместье потомственному почетному гражданину Я. Я. Фан дер Флиту. Он сразу начал интенсивное строительство: построил охотничий дом, молочню, кладовую, оранжерею, дом управляющего, каретный сарай. На высоком холме, отдельно от усадебного дома, Фан дер Флит устроил большую хозяйственную зону со скотным двором, хлевом, кузницей, конюшней, телятником, овощным складом, людскими, сараями и амбарами. Фан дер Флит усадебный дом также реконструировал: в 1894 г. произвел капитальный ремонт, провел водопровод, устроил ванны и туалеты. В доме были кабинет, гостиная, зал, столовая, бильярдная, туалетная, личные

покои хозяина и его сына. После смерти отца в 1911 г. имение унаследовал В. Я. Фан дер Флит, статский советник императорского двора, камергер. Из хозяйственных построек уцелели лишь каменные и смешанной кладки, возведенные Фан дер Флитом, а также построенные Снарской барский дом и два жилых флигеля, сдававшиеся ею под дачи. В советское время в усадьбе располагалась школа, во время войны – немецкий госпиталь. Сейчас усадебный комплекс находится в плачевном состоянии, которое особенно ухудшилось в последние год-два, очевидно вследствие отсутствия присмотра.

28 сентября 1941 года

Осень наступила рано, даже здесь, в Баварии. Трухин помнил, как на родине в это время еще вовсю шла охота, воздух бодрил и даже пьянил, а здесь природа поникала как-то покорно и непразднично. И только вечный запах хмеля перебивал тошнотворные лагерные запахи; цинга разгуливалась, а вместе с ней кровавые поносы и выплюнутые зубы. Но каждое утро, бреясь перед старым потрескавшимся зеркалом, Трухин с удивлением видел не мрачного, чуть одутловатого академического лектора, которым заставлял себя быть много лет, – на него смотрело худое породистое лицо с характерно выдающейся трухинской челюстью и смеющимися мальчишескими глазами. Порой ему казалось, что тот золотой мальчик детства, тот неисправимый фантазер и выдумщик осторожно и с трудом, но все-таки проби-вает себе дорогу к миру, пусть совсем иному, где ему суждено было родиться и начать жить. И он знал, что причиной этому – свобода. Да, оказавшись в лагере, за колючей проволокой, лишенный всего привычного, даже самой простой еды, терзаемый и даже униженный позор-ными поражениями своей армии и своей страны, он каждое утро просыпался с ощущением чего-то нового. Разрушающая душу ложь, парализующий все творческие порывы самокон-троль, понимание бессмысленности собственной жизни – всё осталось по ту сторону июнь-ского дня. Теперь можно и нужно было бороться. И Трухин лишь высокомерно усмехался, глядя, как все чаще от барака к бараку ходят некие личности из советских командиров, кото-рые, не скрываясь, занимались доношением и чувствовали себя при этом совершенно естественно. Они вызывали лишь брезгливую жалость, хотя Егоров и Зыбин всерьез толко-вали о том, что подобных людей надо уничтожать.

– В лагере с этим и проблем-то нет, – ворчал Зыбин, и могучая шея его багровела.

– Ну не будем уподобляться советской власти, Ефим Сергеевич, и действовать ее мето-дами. А доносчиков, поверьте, в настоящей армии не уважают и относятся к ним исключи-тельно с презрением. Да и о чем они станут докладывать немцам? О том, как мы ненавидим советскую власть?

– Нас тут много, и, как вы сами знаете, есть масса таких, которые, наоборот, клянут не Советы, а Гитлера. Что ж, им за их заблуждения еще и в лагере страдать?

– Свобода мнений пока, я вижу, здесь не преследовалась, иначе половина уже лежала бы где-нибудь во рвах.

– Идеалист вы, Федор Иванович, сразу видно, что в барском доме выросли. А пожили бы...

Но Егоров не успел закончить фразу, как в дверях появилась сухонькая фигурка Бла-говещенского.

– Смею вас обрадовать, господа.

– Неужто харч прибавили?

– Скорее, наоборот. Только что комендант объявил старостам барачников, что положения Женевской конвенции на нас не распространяются, поелику мы, согласно заявлению Ста-лина, являемся не кем иным, как изменниками и предателями родины. Вот так-с.

– О, мразь! – вырвалось у Трухина, и перед глазами снова, покачиваясь, как корабль на волнах, старый паникарповский дом, превращенный сначала в хлев, а потом и совсем изгаженный и раскатанный. Дом, где столько поколений ровным, теплым, никого не обде-ляющим светом горела жизнь честных людей, любивших родину превыше всего на свете. Они отдавали ей свой труд, свой ум, силы, а когда надо, не торгуясь и не считаясь, отда-вали и своих детей... Но виденье отчего дома, всегда всплывавшее в критические минуты, в моменты, когда нужна была особая духовная сила, помимо воли Трухина сменилось карти-ной, виденной им позавчера. Несколько русских офицеров, вероятно невысокого ранга, дра-

лись в грязи из-за двух маленьких картофелин. Они дрались не так, как дерутся мужчины, нет, они царапались, визжали, хватали друг друга за отросшие волосы и даже кусались. Гнилая картошка расползалась под костлявыми пальцами, не доставаясь никому. Видеть это было отчаянно больно и унижительно. И это – кадровые офицеры?! И это большевистская власть, которая сделала людей, мужчин, русских зверьми? – Неужели и это преступление не отвратит от коммунистов лучшие умы?

– Держи карман шире, начштаокр, – густо захохотал Закутный. – Уж коли миллионы трупов не отвратили...

– И все же я полагаю существенным и необходимым как-то организовать недовольствие, охватившее столь значительное число пленных. Пусть для начала это будут лекции, доклады, просто личные беседы, в конце концов. Но нужно вытравлять в людях последствия большевистской пропаганды, нужно очищать их сознание и души...

– Батюшек надо бы непременно, – вставил Благовещенский, – народ истосковался, да и многих надо просто поддержать. Не все ведь такие железные, как ты, Федя.

Весь лагерь видел, как высоченный насельник «генеральского барака» каждое утро изнуряет свое и без того худющее тело гимнастикой и льет на себя ледяную воду, когда в бараках и так стоит холод. «Добиться чего-либо можно только преодолением, только насильем над собой», – с детства твердил отец, и маленькие Трухины не знали ни мягких постелей, ни поздних вставаний, ни теплой одежды в морозы...

– Священников обязательно. Но главное даже не в том, что я только что сказал, вернее, это не самоцель. Цель – постепенное установление нашей собственной, подлинно демократической платформы.

– В Керенские метишь? – фыркнул Закутный.

– Керенский дурён во всех смыслах, Дмитрий Ефимович. Только настоящая демократическая платформа даст нам возможность серьезно сотрудничать с немцами, вернет в Россию десятки тысяч белоэмигрантов и... позволит сформировать русские воинские части, воюющие на стороне вермахта для освобождения страны от сталинской тирании.

– Значит, в Наполеоны! Силен!

– У вас есть другие предложения? Иной выход? Если Гитлер действительно ненавидит Советы, то он не может не схватиться за это предложение. Я как можно скорее переговорю со Штрикфельдом.

– А я считаю, что первым делом надо ставить вопрос о создании на уже оккупированных наших территориях антисталинского правительства, введения частной собственности на землю и свободной торговли, – вот что я вам скажу, господа мои товарищи, – оживился Зыбин.

– Это второй шаг, Ефим Сергеевич. Сначала надо физически освободить родину, и лучше это сделать русскими руками.

– А если он ненавидит не Советы, а просто нас... русских? – опустил седую голову, вдруг прошептал Благовещенский. – Тогда как?

– Мы не евреи, Иван Алексеевич, – мягко возразил Трухин. – И немцы – европейцы, не забывайте. Итак, я думаю, начать нужно с частных бесед с офицерами из других барakov. Кто у нас там на примете, навскидку? Лукин? Бартенев, Болховский?

– А Карбышева как забыли, Федор Иванович, – напомнил Егоров. – Вы же с ним, кажется, читали тактику высших соединений?

– Дмитрий Михайлович не читал, он был только помначкафедры. Думаю, его возраст... и совершенно искренние убеждения. Короче, я завтра же иду к коменданту, добиваюсь встречи со Штрикфельдом, получаю разрешение, и мы начинаем делать реальное дело.

– Наконец-то! – почти хором прозвучали голоса Егорова и Зыбина.

Но в тот же вечер в бараке очутился неожиданный и незванный гость. Несмотря на строгий запрет перемещений по лагерю после шести вечера, почти в полночь раздался тихий, но уверенный стук в дверь, и в темной комнате возник очень худой человек среднего роста.

Не поздоровавшись, он коротко бросил:

– Мальцев, военный прокурор сотой СД³⁶.

– Бывший прокурор, – хмыкнул Закутный. – Здороваться надо, военюрист.

– Оставим никому не нужные онёры. Позвольте сесть? – И, не дождавшись ответа, он сел в ноги тут же поджавшего ноги Благовещенского. – Я пришел к вам потому, что знаю ваше отношение к советской власти и готовность возродить старую Россию.

– Укороти вожжи, приятель. Царь-батюшка вряд ли сейчас нужен.

– Дело не в царе, а в национальном характере основываемой мной партии...

– Смотри-ка, еще один... Ульянов!

– Я принципиально не обращаю внимания на подобные выпады. Мне нужно только ваше теоретическое согласие для дальнейшего создания президиума и вербовки новых членов. Мысли об организации так или иначе роятся в лагере, массы надо организовать раньше, чем они успеют все испортить. И до тех пор, пока триумфальное шествие немцев по России идет без проволочек.

– А, значит, будут и проволочки? – не выдержал Егоров.

– А вы сомневаетесь? Но это не наше дело. Сейчас главное – охватить как можно больше народу, для чего я предлагаю анкетирование. Согласны?

– А ты случайно не из абвера, парень? – Закутный медведем поднялся с постели и включил свет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из приказа наркома обороны № 270 от 16 августа 1941

«Расстрелу подлежат все заподозренные в намерении сдать в плен, а их семьи лишаются государственной помощи и поддержки».

Из шифрограммы № 4976 командующего Ленинградским фронтом Жукова Г. К. от 28 сентября 1941

«Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращению из плена они также будут все расстреляны».

³⁶ В начале октября 1941 г. военюрист 3-го ранга О. А. Мальцев и бывший артист МХАТа С. Н. Сверчков создали в Хаммельбургском лагере политическую организацию из военнопленных офицеров. «Русскую Трудовую Национальную Партию». В РТНП вступили более 200 человек. Нацистская разведка использовала объединение как инструмент выяснения лояльности отдельных военнопленных. В середине 1942 г. администрация лагеря распустила партию.

14 июля 1941 года

Через пару дней, так и не сменив окровавленной гимнастерки, она тряслась в столыпинском вагоне вместе с грудой немецкой почты и веселым пожилым почтовым служащим, не обращавшим на нее ровным счетом никакого внимания, словно она была одним из тюков. Воду Стази пила из пожарного ведра, всегда по-немецки аккуратно наполненного и стоявшего наготове у входа. Немец не возражал.

Страх не было. На самом деле настоящий, полноценный страх исчез еще давно, в те дни, когда арестовали отца. Арестовали его вместе с другими бывшими «белыми» прямо в Ярославле, где они проводили каждое лето у каких-то отцовских кузин.

Станиславе было тогда всего девять, но она навсегда запомнила страх, поселившийся повсюду: в глазах матери и няньки, в пустых углах комнат, в тихих разговорах знакомых и в том, как отшатнулись от нее ее уличные приятели. Они очень скоро уехали вслед за отцом в Ленинград, где добрые люди надоумили искать его в «Крестах». Сколько просидел бы отец, неизвестно, если б на одном из допросов к следователю не ввели маму, выглядевшую совсем девочкой. Отец побелел от ужаса и крикнул:

– Неужто вы думаете, что, если бы я был виновен, я позволил бы жене с детьми вернуться в Ленинград?!

И это решило его судьбу – времена были тогда «либеральные».

Страх съезжился, но уже никогда больше не уходил навсегда. Он исчезал только тогда, когда к родителям приходили в гости их старые друзья, и устраивались традиционные ужины с пением. Пели старинные студенческие песни и грустные романсы, а порой даже военные, полковые. Тогда под звон бокалов и стройные голоса страх прятался на некоторое время, чтобы потом вновь сжимать сердце с новой силой при известии об очередном аресте. Через пять лет у отца остался всего один друг, бывший штабс-капитан Соболевский, так любивший смотреть на облака в небе. А еще через год отец исчез. Его искали власти, милиция, ГПУ, родственники по своим каналам в Польше и Франции, но он пропал бесследно, и говорить о нем было запрещено навсегда. Страх был почти изжит горем и болью, и с тех пор бояться Стази, в общем-то, перестала. Эта новая война породила не страх, а некий мистический ужас, чувство совершенно иное и иначе преодолеваемое.

Поэтому нельзя сказать, что Стази боялась. Во всяком случае, смерть не дышала ни в лицо, ни в затылок. Унижения от плена она тоже не ощущала, ибо с детства знала, что плен – печальный спутник войны, что многие из отцовских друзей были в плену в германскую и вспоминали о нем порой с обидой, порой с шуткой, но никогда со страхом или унижением. Соболевский даже показывал ей маленькую бронзовую фигурку Божьей Матери Ченстоховской, присланной в одной из посылок Красного Креста.

Необходимость сотрудничать с врагом тоже ее не очень пугала: она не выдавала ни людей, ни фактов, которых не знала и знать не могла, своим переводом она вряд ли приближала победу вермахта, а вот польза для своих могла быть вполне. «Какая польза? – тут же одернула себя Стази. – Утешение? Что, кроме утешения? Если б я могла говорить им, что все хорошо, что мы победим... А я не хочу победы ни той, ни другой стороне – вот в чем ужас. Да, вот трагедия моего положения: я ненавижу эту власть, но не могу желать победы немцам. Почему же? – снова перебила она себя. – Да потому что я чувствую, что они несут с собой, в себе нечто настолько противоестественное, дьявольское, чему даже нет названия и слов». Правда, пока все виденные ей вблизи немцы оказывались вполне нормальными людьми, но было уже не забыть ключев человеческого мяса, визжавших лошадей с развороченными животами, крики раненых, проклятья и огненный ураган смерти вокруг.

«Я должна превратиться в пустоту, – неожиданно решила Стази. – Пустоту, о которую разбивается и радость, и ненависть. В этом ведь нет ничего сложного, я и так жила здесь как замороженная, особенно после исчезновения папы. Училось, влюблялось, жило нечто внешнее, моя скорлупа, а душа все ждала чего-то... настоящего. Но ведь было и настоящее! – возмутился кто-то в Стази. – Ведь оно было: в стихах, в плотской и сердечной страсти, в любви к маме и к России, наконец! Иначе ты давным-давно была бы трупом. – Но настоящее всегда мучительно, – одернула упрямый голос Стази. – Сейчас нельзя добавлять себе еще мучений, я просто смогу не выдержать. – Дурочка! Для чего же тебе держаться? Если победит Советский Союз, ты снова станешь ничемным комочком страха без всяких перспектив до гроба, а если одолеет Германия... – Что? Что, если одолеет Германия, ну? – злорадно вцепилась в эту мысль Стази. – Если Германия, то все равно для нас, русских, не будет той жизни, в которой родились и жили твои родители. Ты ведь ее, эту жизнь, хочешь? Прочный красивый мир, *твоя* Россия, высокие идеалы, теплая вера, балы, наконец... – Да, – согласилась вдруг Стази, такой жизни не будет. Никогда. – И она в первый раз за время войны заплакала ледяными, необлегчающими слезами».

На четвертый день ее высадили, сдав на руки двум солдатам и офицеру в высоко выгнутой фуражке. На здании старинного фахверкового вокзала она успела прочитать: «Вюрцбург».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из истории города Вюрцбурга

Вюрцбург – средневековый город на реке Майн на юге Германии в федеральной земле Бавария со статусом «свободного города», первое письменное упоминание о котором относится к 704 году.

Город известен издательствами, консерваторией, административно-хозяйственной академией, а также университетом Юлиуса-Максимилиана, основанным в 1402 году, благодаря которому Вюрцбург относится к классическим «университетским городам» Германии. Вюрцбург – один из самых известных центров музыкальной культуры Германии. Ежегодно здесь проходит более 300 концертов классической музыки, а также известные фестивали Моцарта и Баха. С периода Средневековья Вюрцбург являлся одним из крупнейших городов Франконии и центром винодельческой Франконии. За границей франконское вино часто называют «штайнвайн» (Steinwein – каменное вино), это название закрепилось за ним столетия назад. Интересен крепостью Мариенберг (XI–VI вв.), Майнфранкским музеем, церковью Ноймюнстер, в северной части хора которой находится могила знаменитого миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде, умершего в Вюрцбурге в 1230 году.

Во время 2-й мировой войны больше 85 % города было стёрто в пыль налетами союзнической авиации, а затем союзниками вывезены практически все исторические ценности. Но немцы, с присущим им трепетным отношением к своей культуре и истории, кропотливо год за годом восстанавливали всё по сохранённым фотографиям и чертежам. Город действительно выглядит старинным, хотя 85 % его зданий отстроены заново.

14 октября 1941 года

Через несколько дней офлаг тихо гудел, хотя вслух никто и ничего не говорил. Но неумолчное кипение мыслей и страстей создавало густую напряженную атмосферу, которую не могли не заметить немцы. Они усилили охрану и немного ужесточили режим. Впрочем, жизнь в «генеральском» бараке от этого изменилась мало, разве только споры стали еще горячее.

– Больно самолюбив этот малый, – вздыхал Благовещенский. – И самоуверен.

– Полностью согласен, – парировал Зыбин, – но его личность ничего не решает. Нам нужна масса, и, как только она появится, мы все переделаем, мы возьмем власть в свои руки. Как полагаете, Федор Иванович?

– Пока никак, если честно. По поводу взятия власти «потом» у нас есть печальный опыт. Потом не бывает ничего. К тому же я не понимаю, к чему эта конспирация? Если мы все равно без немцев не в состоянии решить проблему, то нужно сразу ставить их перед фактом. Штрикфельд готов к любому открытому разговору.

– Э, батенька, это он с вами открыт, с белой косточкой. А с нами, грешными, вряд ли.

– Гораздо хуже будет, если это откроется как заговор.

– Но мы дали слово...

– Увы.

По всем баракам шли глухие споры не только о сути и задачах организации, но и вещах достаточно формальных и в условиях лагеря вообще необязательных: флаге, названии, подотделах. В головах большинства царил полная каша. Так Трухину с Благовещенским никоим образом не удалось отстоять самостоятельный флаг, и большинством голосов приняли дикий вариант русского дореволюционного торгового триколора, но с трудовыми серпом и молотом в верхнем углу. Но еще бог бы с ним с флагом, которого все равно как не было, так и нет, и идти с ним тоже некуда. Гораздо серьезней оказалась внутривластная борьба. Трухин, всегда избегавший любой политики и считавший, что порядочный человек ею не занимается, оказался втянутым в самые бессмысленные, а потому опасные споры.

Весь офлаг мог смело сверять часы, когда в половине четвертого пополудни по центральной аллее меж старыми бараками прогуливались две фигуры: двухметровая Трухина в старой, но все же с шиком сидевшей советской генеральской форме, и крошечная Мальцева в неизвестно откуда полученном штатском. Первая вышагивала, неся корпус и голову почти неподвижно, вторая насакивала петушком.

– Партия строится лишь на железной дисциплине, вам ли того не знать? – шипел Мальцев. – И у нас есть прекрасные образцы, не побоюсь этих сравнений.

– Ну, милеейший, – растягивая гласные, как в разговоре с официантом или кучером, улыбнулся Трухин, – мне того никак знать невозможно, ибо никогда ни в какой партии не состоял. В гимназии соблазнился эсерством – да Бог миловал. А, во-вторых, настоящая русская партия и не должна брать себе в образцы никакие иные, тем паче запятнавшие себя именно борьбой с русским народом... Вот добились вы названия российской – и что? Почему российской, а не русской? Боитесь, что немцы обвинят в национализме? Ворон ворону глаз не выклюет. И что за абсурд «народно-трудовая»? Что это за двухголовый монстр, когда есть просто два русских хороших и всем понятных слова: народная и трудовая? Или вы рассчитываете только на образованных людей? Тогда и затевать не стоило.

– Знаете, ваше прекраснотушье уже погубило Россию! И не раз, между прочим! Нет, у нас есть только два примера: ВКПб и НСДАП. Структурированная, проверенная форма, подотчетность...

— ...знаю-знаю, что вы сейчас скажете! Подчинение меньшинства большинству и весь этот демократический централизм. Это, милеейший, хорошо в армии, а не в свободном сообществе свободных людей.

— Свободных людей! — весь так и передернулся Мальцев. — Да где вы их видели и видите, генерал?! Эти? — Он махнул в сторону нескольких, судя по возрасту, лейтенантов, куривших одну папиросу на всех и полностью поглощенных счетом затяжек у каждого. — Или в Советах, среди своей офицерни, которые пили, дебоширили да баб насиловали? Это не люди, генерал, это, в чем совершенно согласен с немцами, просто унтерменши. А потому и стоять во главе партии должны немцы.

— Я уже в курсе, милейший. Кстати, вот он идет, ваш юберменш. — Трухин лениво повернулся в сторону подходившего к ним стройного молодого офицера.

Мальцев выкинул руку, а Трухин небрежно поднес свою к фуражке.

— Добрый день, — весело, с любопытством переводя взгляд с одного на другого, поздоровался немец. — Рад, что две стороны одного дела пытаются найти общий язык. Зондерфюрер³⁷ фон Зиверс, — представился он Трухину. — Не жду взаимного ответа, поскольку документы ваши читал и с господином Штрик-Штрикфельдом беседовал. Впрочем, у меня к вам есть еще вопросы, прежде чем сообщу вам приятную новость. — Зиверс неожиданно перешел на немецкий:

— Herr Truchin, ich weiss, dass Strickfeld schon mit Ihnen daruber gesprochen hat, aber wir haben neues Material erhalten und wollen eine Antwort.

— Ich bin bereit, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Nach Moglichkeit, versteht sich.

— Wie uns bekannt ist, wurde der Dekan Ihrer besonderen Fakultat im Juli 1937 verhaftet. ³⁸

— Leider, ja. Das ist mir bekannt.

— Ist Ihnen dann ebenfalls bekannt, dass er bei der Anhorung ausserte, er sei vor einem Jahr mit Ihnen auf einer Kriegsinspektionsreise gewesen...

— Kriegsinspektorenreise, Sonderfuhrer.

— ...und habe dort den Oberleiter des Oberst-Lehrganges von Truchin mit dem Ziel einer Verschwörung fur eine antisowjetisch-faschistische Organisation angeworben. — Зиверс сделал паузу, желая насладиться произведенным впечатлением, но надменное лицо Трухина оставалось равнодушным. — Was sagen Sie dazu?

— Ich sage nur, dass die Aussagen des ungluckseligen Pavlovs moglicherweise die einzigen waren. Oder auch, dass ich keinen hohen Rang hatte, ich war nicht Mitglied der Partei. Ich bitte Sie, wer braucht mich schon?

— Und dennoch gibt es Hunderte wie Sie, und sogar solche mit tieferem Rang.

— Ich kann Ihnen nicht mehr berichten, Sonderfuhrer. Und meinen Bruder, Sergej, haben sie ein Jahr vor dem Krieg gegen Finnland trotzdem festgenommen und erschossen. Also... entschuldigen Sie, Sonderfuhrer.

— Aber Truchin, Sie haben meine Neuigkeit nicht mal zu Ende gehort!³⁹ — крикнул ему в спину Зиверс.

³⁷ Невоенная, чиновничья должность в нацистской Германии.

³⁸ — Господин Трухин, я знаю, что Штрикфельд уже говорил с вами об этом, но мы получили новые материалы и хотим ответа. — Я готов ответить на ваши вопросы. По мере возможности, разумеется. — Как известно, начальник вашего Особого факультета был арестован в июле тридцать седьмого.

³⁹ — Известно, увы. — Но известно ли вам и то, что на следствии он заявил, будто год назад он ездил с вами в военно-инспекционную поездку... — Военно-инспекторскую, зондерфюрер. — ...и там завербовал старшего руководителя курса полковника Трухина в антисоветско-фашистскую организацию с целью заговора. Что вы на это скажете? — Я скажу лишь то, что, возможно, показания несчастного Павлова были единственными. Или же то, что звание у меня было невысокое, в партии я не состоял. Кому я нужен, помилуйте? — Однако сотни таких, как вы, да и пониже в званиях... — Ничего больше не могу сообщить вам, зондерфюрер. А вот брата моего старшего, Сергея, они все-таки взяли и расстреляли за год до финской. Так что... простите, зондерфюрер. — Но, Трухин, вы даже не выслушали мою новость!

– Ich hore.

– Die Leitung hat die russische Diaspora in Berlin um Hilfe gebeten. Bald werden Postsendungen eintreffen...

– Danke, мне вполне хватает пайка.

– ...und die Gottesdienste werden erlaubt werden⁴⁰.

И губы Трухина свел мучительный спазм.

Господи, сколько он не молился в открытую? Перед глазами запрыгали разноцветные огоньки лампадок в комнате у няни, куда он заходил вечером, уже простившись с родителями. Они казались светом волшебного царства, великого царства справедливости и добра на всей земле. Голые коленки на сухом теплом полу, старательно вжимаемые в плечи и лоб детские пальцы, сладкие слова, повторяемые за няней... Владыко, прости беззакония наша... Неужели так и прощал? Огоньки незаметно превратились в розовое зарево Пасхи. Братья в гимназических мундирах, отец, прикалывающий перед зеркалом ордена, мать в шелке, с напудренными волосами. Они никогда не ездили на эту службу, а шли пешком. Упоительно было идти светящимися каждым домом улицами, когда из всех дворов под лай собак, под скрип калиток вытягивался праздничный народ, а меж деревьями сверкали усеянные фонариками колокольни. Сплошным гулом ревели колокола, но все их медные голоса перекрывал тысячепудовый бас собора. Земля вокруг храма уставлена глиняными плошками, а чуть подальше, на самом берегу пылали бочки из-под нефти и смолы, и от их огней красные стены церкви пылали еще жарче. Волга расстилалась черным зеркалом, хрустели льдины, струились звезды... Он был в самом центре готового свершиться чуда. А потом отходила заутреня, и начиналось христосование, священники и клир стояли на амвоне, а перед ними лился бесконечный людской поток. Троекратные поцелуи, красные яички из руки в руку, бельевые корзины разноцветных яиц... Там, на Дебре, он впервые поцеловал крестным поцелуем Валечку... А на улице уже заря, от которой розовеют вывернутые на берег сахаристые льдины, гудят пустынные площади. На Губернаторском родителей, сестру и няню уже ждала карета, а они с братьями возвращались опять пешком, по бульвару уже насвистывали птицы... И он ни за что не отдаст этих воспоминаний.

А сегодня Покров, как он смел забыть?!

И, вернувшись в барак, Трухин быстро и практически без помарок набросал программу новой партии, цель которой заключалась в свержении советской власти и установлении демократического строя в России.

Завтра эта бумага ляжет на соответствующий стол, потом, скорее всего, пойдет по соответствующим инстанциям – словом не затеряется. И обратной дороги уже не будет.

Да и какой, собственно, дороги? Куда? Какие есть варианты?

Забиться в свой кокон, выжидать и выживать, приспособливаясь к обстоятельствам? А разве последние двадцать с лишним лет он жил как-то иначе, разве не устал смертельно от такого существования? Да ничем хорошим оно в нынешних обстоятельствах не обернется.

Героический побег в духе генерала Корнилова? Но Лавру Георгиевичу было куда бежать, и главное – зачем.

Сопротивляться? Как? Не большевистское же подполье устраивать, в самом деле?..

Перед Федором открывался лишь один путь – безрадостный путь князя Курбского. Правда, те, под чью руку отошел мятежный боярин, разве что вздорностью своей и спесью выделялись из прочих, тогда как *эти*... Трухин плотно прикрыл глаза, и на изнанке век заплескали рожи сладчайшего фюрера и высших его клевретов – как картинки из учебника по судебной психиатрии. Да, это вам не юнкерство-пруссачество, не Гинденбурги и Макензены

⁴⁰ – Я слушаю. – Руководство обратилось за помощью к русской диаспоре в Берлине. Скоро придут посылки... – Благодарю, мне вполне хватает пайка. – ...и будут разрешены богослужения!

прошлой германской войны, а такая же донная человеческая муть, вынесенная на поверхность в мире, взбаламученном Великой войной, что и те нелюди, что четверть века насилуют родную страну.

А теперь один гад напал на другую гадину и грызет насмерть. Гадину-то пусть сожрет, а Россию... Россией подавится...

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из истории владения села Паникарпова предками Ф. И. Трухина

Село Шахово Судиславльского уезда Костромской губернии, на окраине которого располагалась усадьба Паникарпово, известно с 16 века. В 18 веке оно же упоминается как вотчина Костромского Богоявленского монастыря, само же сельцо Паникарпово (Поликарпово) в 18 веке принадлежало дворянам Скрипицыным. Затем усадьбой последовательно владели Анна Кологривова, племянница А. А. Скрипицына, костромской губернатор Н. Ф. Пасынков и его наследники.

В 1850 году Паникарпово было куплено Иваном Моисеевичем Бычинским и его женой Александрой Яковлевной, после чего, в 1858 году оно перешло в совместное владение его наследников: дочери Юлии Трухиной, малолетнего сына Николая и дочери Елены (в замужестве Бегичевой) В состав имения, помимо сельца Паникарпова, входили деревни Белореченской волости Клово и Малое Иваново, в которых проживало 107 крестьян. Земли под усадьбу отмежевано 113,5 десятины. При усадьбе содержалось 16 дворовых. Юлия Трухина и ее муж, Алексей Трухин, прослуживший беспорочно 25 лет и вышедший в отставку в чине полковника, передали усадьбу сыну Ивану, родившемуся в 1858 году.

Иван Трухин служил в Первой Гренадерской Его Королевского Высочества принца Карла Прусского артиллерийской бригаде. Будучи поручиком 23 лет он женился на дочери потомственного дворянина Сергея Яковлевича Трегубова Надежде. 29 лет отроду Иван Трухин вышел в отставку в чине штабс-капитана и в 1887 году поселился в Костроме, играя там значительную роль. В 1892–1905 годах исполнял должность земского начальника Костромского уезда, а 1911 имел чин действительного статского советника, с 1913 был непременным членом костромского губернского присутствия.

Трухины жили широко, и Паникарпово (в усадьбе на тот момент было 715 десятин земли) использовали не только как летнюю дачу, но и наладили образцовое хозяйство. Часть земли сдавалась в аренду, часть использовалась для устройства молочно-товарной фермы и маслозавода, приносящих неплохой доход. В усадьбе был разбит новый сад, работал садовник.

По описи 1918 года за Трухиными числилось: усадебной земли 5,5 десятин, пашни – 67 десятин, сенокоса – 80, леса – 202. Часть усадьбы в 1902 году продана костромскому вице-губернатору В. Л. Гуссаковскому.

28 сентября 1941 года

Стази сидела у окна и бездумно смотрела на проходившую мимо нее в самом прямом и в самом переносном смысле жизнь чужого провинциального городка. Если бы не появлявшиеся иногда офицеры и развевающиеся кое-где флаги со свастикой, она вполне могла бы представить себя какой-нибудь русской путешественницей. Мирная осень с преобладанием красного за счет множества виноградников, чадолюбивые мамыши, кухарки с корзинами, старики в шапках с перьями и голыми коленками. Она изучила уже все маршруты местных обывателей, знала, какую пивную они предпочитают и у какого зеленщика берут овощи. Это было единственным развлечением.

Попав в это бывшее католическое училище, где разместили интернированных, как предпочиталось здесь говорить, Стази искренне удивилась. Она ожидала барака или съемной квартиры, оказалась же в старинном здании с гулкими каменными коридорами, ледяными дортуарами и огромной столовой, своими размерами и помпезностью явно не соответствовавшей тому рациону, что предлагался. Эрзац-кофе, эрзац-хлеб, эрзац-суп. Но приученная родителями к большой умеренности в еде – ибо чревоугодие считалось просто-напросто неприличным для приличного человека – Стази почти не страдала от голода. Гораздо хуже обстояло дело с одиночеством. Уединиться было невозможно: в ее дортуаре стояло девять кроватей.

Она считалась старожилкой. Когда Стази привели в дортуар, то она обнаружила лишь единственную девушку, читавшую у окна книгу. Это была Библия, ибо иных книг не то не разрешалось, не то просто не имелось.

– Серайна, – представилась девушка, но по выговору Стази поняла, что она не немка. Действительно Серайна оказалась бельгийкой. Она была весела, ровна, неприхотлива, и только много позже Стази поняла, что поддерживало в ней эту невозмутимость. Серайна яростно ненавидела нацизм и немцев и считала, что только так она сможет выжить. Выжить, чтобы мстить. Ее маленькая растоптанная родина взывала о мести, и Стази искренне ей завидовала. Счастлив тот, кто любит свою родину без ненависти.

Серайна, которую Стази стала называть просто Аней, быстро ввела ее в курс дела. Сюда, в Вюрцбург, свозились совершенно свободно владеющие немецким языком женщины – по преимуществу молодые – чтобы работать по обслуживанию массы концентрационных лагерей для пленных. С другими странами все давным-давно было определено и работало по накатанным схемам. Женевская конвенция, Красный Крест, католические организации...

– Но теперь машина дает сбой, – радостно пояснила Аня. – С востока течет такая река пленных, не регулируемая никакими правилами, что они в растерянности, они захлебываются!

Но то, что вызывало такую радость у бельгийки, тяжким камнем легло на душу Стази. Массы пленных означали поражение. Ходили слухи, что Ленинград практически сдан, на очереди Москва.

И действительно, поначалу работы было много, очень много. Август с его жарой слился для Стази в одну бесконечную пыльную дорогу по фильтрационным пунктам и солдатским лагерям. Вопросы, ответы, почти всегда одинаковые, море грязных, потерянных, жалких молодых лиц, ничего толком не понимающих. И только иногда Стази видела в толпе значительные лица людей около сорока, по сверкающим, с трудом гасимым глазам которых было ясно, что они все понимают: и что происходит – и что их ждет. Попадались и совсем мальчишеские, что горели неприкрытой ненавистью.

А ночами Стази сидела, раскачиваясь на кровати, накручивая до боли волосы на висках, и с тоской твердила названия котлов или просто местностей, откуда брались эти плен-

ные. Киев, Гродно, Демянск, Палдиски, Красногвардейск, Смоленск, Ржев, Пушкин... Боже мой, Пушкин! И все же им повезло: последнее, что они видели, была не тинистая река, заросшая осокой, а вечная бирюза Екатерининского собора!

Прибавилось и переводчиц. Появилось несколько француженок, впрочем, державшихся особняком и даже пользовавшихся определенными привилегиями, польки и даже одна американка, уж непонятно каким образом оказавшаяся в Европе да еще и в плену. Впрочем, Стази и Серайна подозревали, что она доброволка. Правда, Кристе приходило огромное количество посылок со всевозможными консервами, о существовании которых Стази никогда даже не подозревала, и американка щедро делилась с товарками. Прибыла и еще одна советская, тихая и красивая украинка, с огромными испуганными глазами, дочь степного колониста из немцев. Она молчала и всегда стояла или ходила по дортуару – сидеть на кроватях днем, как в тюрьме, было категорически запрещено – словно застывшая, глядя куда-то в себя.

И было странно видеть этих молодых интересных девушек, говорящих даже между собой исключительно на немецком. Создавалось впечатление, что действительно немцами покорен уже весь мир, и нет на свете ни Франции, ни Англии, ни России.

Все девушки, кроме француженок и, как ни странно, Стази, боялись возможных поползновений со стороны сопровождавших их офицеров или даже obsługi их узилища. Но время шло, а никто не проявлял к ним никакого интереса, и постепенно все успокоились на этот счет. Первый страх прошел, уступив место столь неизбежным в замкнутом женском коллективе сплетням, мелким интрижкам и гадостям. К счастью, Стази своей холодностью и замкнутостью сумела с самого начала поставить себя совершенно отдельно и в свободное время просто молча сидела в сторонке, когда остальные болтали, вышивали или дежурили.

И сегодня она заняла свое любимое место у сводчатого окна, выходявшего в заброшенный парк. Здесь не мозолили глаза осточертевшие немецкие обыватели, и можно было спокойно вспоминать, как в это время в России еще не иссякали летние впечатления, учеба еще не надоела, и погода еще радовала поездками по пригородам. Еще маленькой девочкой Стази объехала с родителями и братом все малоизвестные закоулки когда-то роскошных имперских дач, от Павловска до Лисино-Корпуса, и почти разлюбила парадность официальных резиденций. Тем более что теперь они кишели народом, плюющим семечками и разевающим рты на ночные горшки императриц. Сердце ее принадлежало заброшенным, но еще живым особнячкам где-нибудь в Дудергофе или Михайловке, Мартышкине или Графской Славянке. Там еще хранился нетронутым дух минувшего, там грустилось и плакалось легко и светло.

Неожиданно вечернюю тишину парка нарушило урчание машины, и к заднему крыльцу училища, всегда закрытому, медленно подполз сверкающий «хорьх». Из него вышло несколько не менее сверкающих офицеров. Закатные лучи падали на их сапоги, козырьки фуражек, погоны и пуговицы и загорались ослепительно-багровым светом, будто все они были облиты кровью. Зрелище было страшное, но завораживающее, и Стази невольно вцепилась пальцами в подоконник, будучи не в силах ни оторвать взгляда, ни отвернуться.

Дверь тут же открыл кто-то невидимый под навесом крыльца, и через пару минут под сводами уже гулко раздавались ритмичные шаги.

– В капеллу идут! – послышался испуганный шепот.

В бывшей капелле теперь находилось что-то вроде приемной, куда девушки попадали только по прибытии или по каким-то иным важным случаям. Так, например, именно в капелле совсем недавно им зачитали сообщение о взятии войсками вермахта Киева.

Действительно, прошло совсем немного времени, и дежурный обергефрайтер⁴¹ приказал всем пройти в приемную. Привычно выстроившись, девушки пошли, на ходу одергивая некое странное подобие формы, что выдавали в училище. Прямые коричневые юбки до колена, такие же жакеты и ботинки, под которые полагались высокие, тоже коричневые носки. Блузки приходилось доставать самим. Большинство получило их в посылках и дарило излишки менее везучим, и только Маруся из Киева попросила разрешения у коменданта и несколько дней отработала за свою блузку у какого-то бауэра на окраине. Со Стази в первый же день поделилась одеждой Серайна.

Ботинки стучали нещадно, и Стази видела, как поморщился один из сидевших за широким столом прибывших офицеров. Подошли девушки и из других дортуаров.

– До сего времени вы честно исполняли свой долг, – начал комендант, даже будто бы немного гордясь своим девичьим стадом. – И наше доблестное командование решило, что есть возможность послать вас на более ответственную работу. Разумеется, не всех, далеко не всех, а только лучших из лучших. Предупреждаю сразу: работа ответственная и тяжелая. Все, кто не владеет славянскими языками, можете возвращаться в дортуар.

Вскоре перед столом стояли всего двенадцать девушек. Один из офицеров поднялся и неспешно прошелся перед строем, внимательно вглядываясь в лица, то вызывающие, то испуганные. Стази одна стояла равнодушно – ей действительно было все равно.

– Мне нравится эта, надменная, – вдруг улыбнулся сидевший слева молодой и смуглый, чем-то неуловимо напоминавший Стасе убитого курсанта-казака. Она непроизвольно подняла руку и тронула крошечный шрам на губе. – Характеристику, пожалуйста, – обратился офицер к коменданту. Тот послушно достал из папки листок и пробубнил про исполнительность, невозмутимость, прекрасное знание не только языка, но и манер.

«Каких манер? О чем он? Можно подумать, мы на выпускном в Смольном», – едва не рассмеялась Стази.

– *Ausgezeichnet! Вот и отлично, – не дослушав, остановил офицер. – Ich nehme sie mit. Ein Aufnahmegespraech scheint mir ueberfluessig*⁴².

– *Wie willkuerlich, Rudolf! Wir sitzen alle im gleichen Boot*⁴³.

– *Zeit ist Geld, wie unsere Feinde sagen*⁴⁴, – рассмеялся офицер. – *Ich habe gespart. Я его сэконобил. – Он остановился около Стази и пристально оглядел ее, как вещь, хотя глаза у него при этом оставались веселыми. – Standartenfuehrer von Gersdorf. Ich warte mit den Sachen in 15 Minuten beim Auto auf Sie.*⁴⁵

⁴¹ Сержант.

⁴² – Я ее беру. Собеседования не нужно.

⁴³ – Что за произвол, Рудольф? Мы все работаем на одно дело и...

⁴⁴ – Время – деньги, как говорят наши враги.

⁴⁵ – Штандартенфюрер фон Герсдорф. Я жду вас с вещами через пятнадцать минут у машины.

7 ноября 1941 года

Под утро ему приснилась Наталья. Она спускалась по Молочному валу, и волжский ветер колоколом поднимал разноцветное платье над стройными ногами. Лепетали березы, солнечный свет пятнами метался по тротуарам, по ее лицу, по старинному ридикюлю. Наталья была холодна и далека, как всегда. Честный, во всяком случае старавшийся быть таким перед собой до конца, Трухин никогда не мог объяснить себе этого брака. Женщины его любили, и он прекрасно знал эту свою власть над ними: власть щедрой души, породы и той спокойной уверенности, которая пленяет существ послабее. Наталья досталась бы ему и так. Что таилось на самом дне этого поступка? С детства веками прививавшаяся обязанность продолжения рода – обязанность перед Богом, государством и семьей? Но все это советская власть давно перечеркнула и ничего не требовала. Может быть, ему не давал покоя пример Коки, женившегося именно из долга и традиции на девушке из хорошей дворянской семьи? Или им двигало жалкое чувство иметь свой обустроенный угол, место, где на старости лет преклонить голову? Но до старости в существующих обстоятельствах он дожить не рассчитывал, а обустроить угол Наталья вряд ли была способна. Да и таких статных, полнокровных женщин он никогда не любил... Но теперь за его необъяснимый поступок будет расплачиваться она. Как расправлялись на родине с ЧСИРа⁴⁶, Трухин знал не понаслышке.

А Наталья все спускалась вниз и не могла спуститься, словно между нею и берегом стояла невидимая преграда. Он оглянулся на секунду, посмотреть, что же мешает ей подойти к причалу, а когда обернулся, то увидел за собой не причал, а раскаленное стрельбище, щиты и слепящие, белые, ни единой пулей не задетые мишени на них. «Попадание – ноль, товарищ народный комиссар!» И ехидный голос из-под усов щеточкой всесильного маршала, не умеющего на бумаге двух слов связать: «Что ж, товарищ, ставлю вам такой же большой ноль, как вы сами!» И навстречу ему по валу шла уже не Наталья, а катился огромный жирный ноль, все давя и калеча на своем пути...

Барак поднимался. Сегодня был его день обхода участка и выноса трупов. Станные люди немцы: неужели они взяли его в эту похоронную команду только за рост? Или по дурацкому заступничеству Штрикфельда они думают, что он будет шарить по карманам и таким образом улучшать свой паек? Или драгоценности будет снимать? Дико болел желудок. Одной гимнастикой старую язву не вылечишь. Сгребаясь от боли, Трухин застегивал мундир, с иронией думая о том, что лучше было б попасть в плен зимой в полушубке и валенках, чем в летней форме, которая теперь не спасала даже от ненавязчивых баварских морозцев. И все же он заставил себя выйти на улицу, чтобы как ни в чем не бывало проделать свои мюллеровские⁴⁷ упражнения, помнимые телом еще с гимназических уроков. Однако на улице, несмотря на темень и начинавшийся дождь, было оживленней, чем обычно. Приглядевшись, можно было заметить, что волны народа хаотично, но неуклонно катятся к зданию комендатуры. Трухин заставил себя доделать упражнения до конца, навсегда запомнив урок матери. Когда-то еще совсем крошечным мальчиком в матроске и козловых башмаках с пуговками он шел с ней по Русиной. Неожиданно все гуляющие ринулись вперед и спустя несколько минут навстречу уже не спеша, степенно шли счастливчики, прижимая к груди бутылки с ситро – напитком, появившимся только этим летом. Он потянул мать за руку и ускорил шаг, но та нарочно пошла еще медленней. Сердце его разрывалось от желания и обиды, но прохладная материнская рука, затянутая в шелк, держала его спокойно и властно... Ситро им

⁴⁶ Члены семьи изменников родины.

⁴⁷ Система немецкого врача Мюллера, популярная в России до революции.

досталось, но слова матери запомнились навсегда: «Порядочный человек никогда не бежит с толпой. Поспешность – есть дело дьявола».

На щите у комендатуры под полуслепым фонарем развешался первый номер газеты «За Родину». Это было их детище, рожденное в бесконечных спорах. Одни требовали только информации, другие хотели развернутого анализа того, как и почему большевики смогли захватить власть. Пришлось пойти на компромисс. Впрочем, как и предполагал Трухин, пленные гораздо живей реагировали на предложение вступать в ряды новой партии. Лейтенантам и майорам, мало разбиравшимся – да и не очень-то хотевшим разбираться – в сложностях политики, не видевшим в жизни ничего, кроме советского строя, предложение сверху оказаться частью какой-либо организации, было понятно и привлекательно. Оно успокаивало, давало надежду, создавало хотя бы иллюзию некоей защищенности.

«Да, с ними еще возиться и возиться, – думал Трухин молча и, как всегда, отдельно стоя в мигающем свете. – Чтобы создать из полуграмотных, без стержня людей настоящую армию... боюсь, понадобится не месяц и не два, как думают лихие умники вроде Мальцева».

К нему незаметно подошел Благовещенский, за несколько месяцев лагеря окончательно потерявший военную выправку и ставший с виду настоящим сельским дьячком. Впрочем, его интеллигентность и логика никуда не исчезли. Некоторое время они оба с любопытством смотрели на реакцию подходивших и уходивших. Немцы не препятствовали, не гнали на работу, и было ясно, что фон Зиверс и периодически наезжавший в Хаммельбург Штрикфельд тоже поработали изрядно.

– И все ж, Федор Иванович, думаю, немцы готовы только на то, чтобы пар выпускать. Ну не верю я, сердцем, нутром своим русским не верю, что пустят они нас воевать. Куда-нибудь в Италию – это за милую душу, а вот чтоб на русский фронт... Русский человек ведь непредсказуем.

– Ну, милый мой Иван Алексеевич, зачем же сразу на фронт? Никто этого нам и не позволит, согласен. Но я, например, хочу предложить – и уже начал писать пару статей на эту тему – создать из особо проверенных военнопленных небольшие группы и забрасывать их в тылы Красной армии. А там под антисталинскими лозунгами, разумеется, они будут, во-первых, готовить почву для повстанческой деятельности местного населения и, во-вторых, проводить диверсии на коммуникациях.

Благовещенский потеребил редкую бороду.

– Вроде и хорошо, но ведь этим, как я понимаю, немцы и сами прекрасно занимаются. Про полк «Бранденбург»⁴⁸ слышали?

– Слышал. Уже в лагере, правда. Но все-таки смею надеяться, что русский лучше пройдет русского. Да и это не главное. На самом деле задумка у меня гораздо серьезней. Нам, новой России, нужна гарантия от иностранной оккупации – гарантия любой ценой. Я так и намерен написать, без обиняков: армия в новой России будет существовать для обеспечения ее безопасности и ведения борьбы с капитализмом.

– Простите... – Благовещенский как-то растерялся. – С каким капитализмом? Европейским?

– Да нет же! – Боль снова полоснула по желудку, и Трухин невольно чуть повысил голос. – Под капитализмом в данном случае я подразумеваю неограниченную и безжалост-

⁴⁸ 800-й полк особого назначения (с 1943 г. – дивизия) «Бранденбург» – специальное подразделение германских вооруженных сил, созданное в 1940 г. на основе батальона особого назначения по инициативе гауптмана Теодора фон Хиппеля, при активном участии руководителя абвера адмирала Вильгельма Канариса. Свое название подразделение получило по месту дислокации – Бранденбургу, прусскому региону Германии, граничащему с Берлином на востоке. На завершающем этапе Второй мировой войны, весной 1945 г., «Бранденбург» вошел в состав корпуса вермахта «Великая Германия». Спецгруппы подразделения в высшей степени эффективно отработали в ключевых этапах практически всех крупных операций вермахта.

ную эксплуатацию народа со стороны несознательных частных лиц, которые непременно найдутся, и государства.

– Далеко мыслите, Федор Иванович.

– А иначе все это не имеет смысла. И именно поэтому второе, и главное, мое предложение заключается в том...

– А где тут в партию записывают? – прервал его плечистый, несмотря на голод, парень в накинутах солдатской шинели.

– Думаю, вам в первую очередь надо обратиться в комендатуру к зондерфюреру Зиверсу.

– Зондеру? Какого хрена?! Я так думал, это же русская, наша партия, при чем тут фюрер-то?

– Осторожнее, Федор Иванович, ой, осторожнее, – рассмеялся Благовещенский. – Вот он, русский человек-то: чуть не по нему – и прощай. Русская партия, русская, – положил он руку на обшлаг шинели. – Ступай, голубчик, во второй барак и найди там... ну хоть Зыбина Ефима Сергеевича, к нему и обратись. Внимательно слушаю вас, Федор Иванович.

– Да-с... Главная моя мысль – уже этой зимой войскам вермахта на нашем фронте должны быть приданы крупные добровольческие части всех родов войск.

– А вы знаете, что немцы у Москвы? – неожиданно вмешался в их разговор Сергей Болховский, недавно ставший секретарем президиума.

Трухин поморщился: вся это партийная иерархия была ему крайне неприятна, и мирило с ней только то, что никакие посты в партии, как и собственно членство, не давали никаких привилегий и не влияло на условия пребывания в офлаге. И к Болховскому у него было двойственное отношение: с одной стороны, дворянин, хорошей фамилии, но с другой – актеришка, что он смыслит в военном деле...

– Это они говорят.

– Ну почему же? У нас худо-бедно есть некая связь с военнопленными других стран, у них пресса, радио.

– Пусть будет по-вашему, под Москвой. Но я не мальчик, и в Академии не штаны, простите, протирал. А потому заявляю вам со всей ответственностью: весной будущего года восточный фронт будет существовать! Будет – и еще как!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.